

«Древо жизни»

Басня И. А. Крылова «Листы и Корни»

Э. Г. БАБАЕВ,

доктор филологических наук

1.

Иван Андреевич Крылов (1762—1844) как поэт развивался органично, год от году укореняясь в литературе своего времени. Все чувствовали свежесть и добрую щедрость его таланта, цветение великих природных сил творчества и воображения. Он не вступал в соперничество с предшественниками и современниками. Напротив, смиренно обращался к сюжетам, которые находил у других баснописцев. Под его рукой эти сюжеты совершенно преобразались. Своеобразие и самобытность Крылова яснее всего раскрываются в сравнении его басен с баснями-прообразами. И тут оказывается, что Крылов не сравним ни с кем...

Жил некогда баснописец Михаил Никитич Муравьев (1757—1807), отец двух сыновей декабристов и воспитатель двух великих князей: Александра и Константина. Его перу принадлежала благородная по замыслу и в высшей степени поучительная басня «Верхушка и Корень» (1773). В ней говорилось о соперничестве «верхушки» и «корня» единого дерева, о том, как возгордился «корень» и к чему это привело.

Когда-то Корень так о себе сам говорил:
«Зачем мне истощать своих лишь токмо сил,
Чтобы Верхушку,
Такую лишь вертушку,
Кормить,
Поить
И на себе носить?..»

Корень у Муравьева рассуждает логически и последовательно, имея в виду «свои интересы». К тому же он весьма себялюбив и не чужд надменности: «И без тебя, мой друг, могу же я прожить...» И если, ехидно грозит он Верхушке, «давать свои не стану соки», не иссохнут ли твои «широки боки,/На коих лишь сидят вороны да сороки».

Басня написана языком архаичным, «жестким», в духе поэзии XVIII века. В её стиховом строе отразился общий взгляд на поэтику «притчи», понимаемую как аллегория или, выражаясь по-тогдашнему, «прозопопея». Муравьев к тому же, стремясь быть народным

(отсюда к месту и не к месту употреблённые им многочисленные «вить», «ин сем-ка», «авось-либо» и др.), даже в авторских отступлениях и комментариях к речам Корня прибегал к народным, по его понятиям, словечкам.

Так страшно в ревности своей, мой Корень рех
И с словом все пути к Верхушке он пресек,
Через кои он ей слал питательную воду.
Приблекло деревцо, свернулись ветви вдруг,
И наконец Верхушка — бух;
И Корень мой с тех пор стал превращён в колоду.

Как тут не вспомнить, что в 1773-м, в год написания басни, началась пугачёвщина, когда взбунтовался Корень, то есть сам народ. «Затем ли сделан я, чтоб ей слугою быть? — говорит Корень о Верхушке. — Ниже она мой повелитель, ниже и я её служитель: / Всегда ль мне ей оброк платить?»

Это была суровая басня, содержащая в себе острый социальный и исторический смысл, затрагивающая интересы как «начальствующих» (верхних), так и «подчинённых» (низших). В этом и заключалась её «прозопопея», сиречь олицетворение. Если же видеть в басне Муравьёва иносказание о государственности, то Верхушку можно сравнить с законодательной, а Корень с исполнительной властью.

Что ж?
Вить то не ложь,
И басенка моя не простенька игрушка, —

замечает Муравьёв. «Не простенькой» была и мораль, которую он вывел из этого спора ветвей и корней. Получилось некое историческое обобщение, способное послужить на пользу «верхам» и «низам».

Итак, какой же бы из ней нам выбрать плод?
Правительство — Верхушка,
А Корень — то народ.

Аллегория строится по вертикали: «сверху вниз». Муравьёв выбрал противоположности политического смысла: «правительство и народ». Но его цель состояла не в противопоставлении «верхушки» и «корня», а в определении исторической и государственной связи между ними.

Гордыня (понимай: страшный грех!) Корня приводит к двум равновеликим бедствиям: «верхушка» повержена, дерево «блекнет», а сам Корень «превращён в колоду». Слово *колода* казалось Ивану Андреевичу Крылову очень выразительным. В басне «Пушки и Паруса» он воспользовался им как синонимом безволия: «Корабль без

Парусов/Игрушкой стал и ветров и валов,/И носится он в море, как колода...»

Надо сказать, что Муравьев был прочитан Крыловым очень внимательно. В 1811 году, накануне Отечественной войны, когда особенно важным, исторически необходимым было единство, он написал басню «Листы и Корни» на сюжет его притчи «Верхушка и Корень».

В основе басни Крылова тот же принцип олицетворения и аллегории. Но если у Муравьева перед нами возникает некая схема, рациональное развитие отвлечённых начал, лишь для примера представленных как «ветви» и «корни», то у Крылова вырисовывается живое, полное сил дерево как явление природы.

В прекрасный летний день,
Бросая по долине тень,
Листы на дереве с зефирами шептали,
Хвалились густотой, зелёностью своей...

Если у Муравьева причиной конфликта была гордыня Корня, то у Крылова гордыней охвачены Листы, которые толковали зефирам о своей красоте и избранности:

«Не правда ли, что мы краса долины всей?
Что нами дерево так пышно и кудряво,
Раскидисто и величаво?
Что б было в нём без нас? Ну, право,
Хвалить себя мы можем без греха!..»

Зефиры ни в чём не перечат Листам. Да и что тут можно сказать? Действительно, листы составляют красу дерева, и не только дерева, но и «долины всей». И в самом деле, дерево благодаря листам «так пышно и кудряво», «раскидисто и величаво».

Листы между тем продолжают перечислять свои достоинства, доказывая, что в них сосредоточена не только красота, но и та польза, которую все ценят в знойный день, когда душа жаждет «прохладной тени»:

«Не мы ль от зноя пастуха
И странника в тени прохладной укрываем?
Не мы ль красотью своей
Плясать сюда пастушек привлекаем?
У нас же раннею и позднею зарёй
Насвистывает соловей,
Да вы, зефиры, сами
Почти не расстаётесь с нами».

Басня разворачивается простодушно и, главное, картинно. Как будто само дерево, «поблекшее» у Муравьева, распрямлялось на воле. Крылову не нужны были книжные ухищрения псевдонародно-

го языка («ин сем-ка» и проч.). У него в стихах «насвистывает соловей»... И от этого соловьиного звука исчезает, как тень от огня, косноязычие притчи XVIII века. И вступает в силу народный литературный язык нового века. Новизна басни Крылова заключается именно в том, что в ней корни заговорили.

Листы ещё не окончили перечень своих достоинств, когда вдруг послышалось «из глубины»:

«Примолвить можно бы спасибо тут и нам», —
Им голос отвечал из-под земли смиренно.

Это показалось Листам и дерзким, и неуместным, и они, не скрывая своей досады, «залепетали»:

«Кто смеет говорить столь нагло и надменно!
Вы кто такие там,
Что дерзко так считаться с нами стали?» —
Листы, по дереву шумя, залепетали.

И услышали ответ, который был для них совершенной неожиданностью, потому что они привыкли к молчанию корней, и даже забыли о них там, на высоте, где светит солнце и порхают зефиры:

«Мы те, —
Им снизу отвечали, —
Которые, здесь роясь в темноте,
Питаем вас. Ужель не узнаете?
Мы — корни дерева, на коем вы цветёте.
Красуйтесь, в добрый час!».

Крылов вовсе не считал, что Корням от природы присуща гордыня. Напротив, в речи Корней в его басне есть удивительный по своему историческому смыслу жест: «Красуйтесь, в добрый час!»

«Да только помните ту разницу меж нас:
Что с новою весной лист новый народится;
А если корень иссушится,
Не станет дерева, ни вас».

В басне Крылова нет особого «нравоучения» («морали»), выраженного в отдельной логической формуле, дополняющей самую притчу, её сюжет. Он как бы ничего не мог прибавить к тому, что уже сказано.

Мораль Крылова заключалась в том, что он указал на великое древо жизни, где всё дорого в единстве, всё составляет органическое целое. Дерево, насильственно лишённое листвы, погибает так же неизбежно, как если бы у него были подрублены корни.

Отменный декламатор, Крылов прочитал свою басню «Листы и Корни» в 1811 году на заседании «Беседы любителей русского сло-

ва». Председателем этого Петербургского знаменитого кружка, полупридворного великосветского литературного общества, был адмирал А. С. Шишков, к голосу которого прислушивался сам государь Александр I.

Басня Крылова печаталась в четвертом выпуске журнала «Чтение в „Беседе любителей русского слова“» (СПб., 1811). А в пятом выпуске того же издания за 1812 год была помещена речь Шишкова «Рассуждение о любви к отечеству», где есть несомненный, как нам кажется, отголосок басни Крылова.

Страстный ревнитель чистоты русской речи, Шишков оценил Крылова и его «древо жизни», видя в нём прообраз или символ народного языка и просвещения. «Язык есть душа народа, зеркало нравов, верный показатель просвещения, неумолчный проповедник дел», — писал Шишков и продолжал: «Возвышается народ, возвышается язык». В такую эпоху возвышения народа и языка «растут науки, цветут искусства, зеленеют искусства, и древо просвещения, пуская корни свои глубоко, возносится вершиною к небесам...» (Чтение в «Беседе любителей русского слова». СПб., 1812. Вып. 5. С. 49, 48, 50). А это и есть то «древо жизни», которое воспел Крылов в басне.

Метафора «Листы и Корни» получила и получает множество значений и толкований. Н. В. Гоголь, например, считал, что в ней заключено иносказание об «учителе жизни», то есть о том, кем был Крылов в своих баснях, со временем составивших «книгу мудрости самого народа» (Гоголь Н. В. Собр. соч.: В 7 т. М., 1967. Т. 6. С. 393). Учитель жизни, утверждает Гоголь, «при всех великих дарах, при картинной живописи слова, при орлиной силе взгляда, при возносящей силе лиризма и поражающей силе сарказма» получил как некий высший дар «полное познание земли своей и своего народа в корне и в ветвях» (Там же. С. 460). Эти последние слова «в корне и в ветвях» особенно знаменательны.

И даже ту роль, которая выпала на долю Крылова в истории русской литературы, Гоголь определял в духе его притчи о «древе жизни»: «Выбравши себе самую незаметную и узкую тропу, — писал он о Крылове, — шёл он по ней почти без шума, пока не перерос других, как крепкий дуб перерастает всю рощу, вначале его скрывавшую...» (Там же. С. 392).



«Бессонница» в русской поэзии

Л. Л. БЕЛЬСКАЯ,
доктор филологических наук

Мне не спится...

А. С. Пушкин

И бессонницы млеющий жар...

А. А. Ахматова

О чём думают поэты, когда им не спится?

Одних занимают проблемы вселенские, других — личные, третьих мучают угрызения совести, четвёртых — сожаления о потерянном дне, пятым спать не дают мечты и вдохновение, шестым — увлечения и страсти...

О некоторых «поэтических бессонницах» и пойдёт далее речь.

Первые две появились почти одновременно, причём одна принадлежала стихотворцу начинающему и неизвестному, а вторая — зрелому и знаменитому. Это «Бессонница» Фёдора Тютчева, опубликованная в начале 1830 года в журнале «Галатей», и «Стихи, сочинённые ночью во время бессонницы» Александра Пушкина, написанные в Болдинскую осень 1830 года.

Стихотворение молодого автора поражает умудрённостью и безотрадностью взгляда на мир и человеческую жизнь: как будто перед нами всезнающий старец, подводящий свои жизненные итоги и размышляющий о времени и судьбе. Для Тютчева ночь — пора «всемирного молчанья», когда воцаряется Хаос, когда Рок наступает человека, который чувствует себя одиноким и покинутым: «И мы, в борьбе, природой целой/Покинуты на нас самих».

Поэт-философ мыслит глобальными и абстрактными категориями — «мы», то есть человечество, наша жизнь, наш век, наше время, природа, мир и забвенье, стенанье, совесть, даль. В однообразном бое часов ему слышится и «томительная ночи повесть», и язык чужой для всех, но «внятный каждому, как совесть», и «глухие времени стенанья», и «пророчески прощальный глас». И само стихотворение звучит как пророчество и прощание — сдержанно, сурово, мрачно.

И наша жизнь стоит пред нами,
Как призрак на краю земли,
И с нашим веком и друзьями
Бледнеет в сумрачной дали...

Сумрачный колорит всё более сгущается — от неясного томления и тоски к ощущению сиротства и предчувствию смерти, бой часов превращается в «металла голос погребальный», оплакивающий всех обречённых умереть. «Образ Времени — неумолимого божества, близкого Судьбе, Року», предопределяет выбор высокой лексики и ориентацию на предшествующую традицию, в частности на Державина (Григорьева А. Д. Слово в поэзии Тютчева. М., 1980. С. 201, 204).

Начав с раздумий о всеобщности ночных переживаний для всех и каждого, автор включает в эту общность и себя (*кто из нас, нам мнится, наша жизнь*), а затем суживает понятие «мы» до круга своих друзей и своего поколения.

И новое, младое племя
Меж тем на солнце расцвело,
А нас, друзья, и наше время
Давно забвеньем занесло!

Трудно поверить, что это пишет 26-летний человек, глядящий на своё будущее как на уже свершившееся, ставшее прошлым, и употребляет при этом не просто глаголы прошедшего времени, но совершенного вида (*расцвело, занесло*).

Вероятно, Пушкин прочёл тютчевскую «Бессонницу», находясь в Москве перед отъездом в Болдино и вспомнил её зачин «Часов однообразный бой, / Томительная ночи повесть!», сочиняя свои «Стихи...». Так появляется в них «Ход часов лишь однозвучный»^{*} и одинаковые синтаксические конструкции прил. + сущ. в им. п. + сущ. в род. п. (ПиСиСр) в различных вариациях: у Тютчева — СрПиСи

* Помнит Пушкин и своё стихотворение «Дар напрасный, дар случайный...» (1828) и словно продолжает его, перенося оттуда эпитет *однозвучный* («Однозвучный жизни шум»), и мотив сомнений («Ум сомненьем взволновал?..»), и обращение к жизни на «ты», и вопросы без ответов, и 4-стопный хорей.

(часов однообразный бой), ПиСрСи (глухие времени стенанья и томительная ночи повесть) и СрСиПи (металла голос погребальный), у Пушкина — СиСрПи (ход часов лишь однозвучный), СрПиСи (Парки бабье лепетанье и жизни мышья беготня), ПрСрСи (спящей ночи трепетанье) и с усложнением в виде ещё одного сущ. и мест. СиСиМтПрСр (укоризна, или ротот мной утраченного дня).

Однако пушкинские бессонные мысли, казалось бы, тоже о времени, судьбе и жизни противостоят тютчевским и носят совершенно иной характер: не всеобщий, а личный (вместо «мы» и «наш» — «я» и «ты»); не мрачный, а тревожный (хотя и упоминается мрак — в значении ночной темноты); не категорично-пророческий, а смятенно-вопрошающий (пять вопросов, остающихся без ответа). «Глобальность» Тютчева заменяется конкретной и обычной ситуацией: тёмная ночь, «нет огня», вокруг всё спит, даже ночь — спящая, и не спится только одному «мне» (трижды повторяются слова с семей сна — спится, сон, спящей). «Я» вглядывается во тьму, вслушивается в ночные звуки и одушевляет, персонафицирует их — ход часов, лепет Парки, трепет ночи, беготня жизни, чей-то шёпот. Структурная однотипность перечислений: «Парки бабье лепетанье,/Спящей ночи трепетанье,/Жизни мышья беготня...» — уравнивает судьбу (Парка — богиня судьбы), ночь и жизнь. Поэтому последующие вопросы с местоимением «ты» обращены неизвестно к кому и к чему. Возникшую ситуацию Р. О. Якобсон обозначил как «драматическую коллизию авторского я с воображаемым собеседником» (Якобсон Роман. Работы по поэтике. М., 1987. С. 202).

Что тревожишь ты меня?
 Что ты значишь. скучный шёпот? <...>
 От меня чего ты хочешь?
 Ты зовёшь или пророчишь?

Тютчевский жуткий погребальный голос обратился у Пушкина в чуть слышный шёпот, то ли зовущий, то ли пророчащий.

Иронически переосмыслив мифологический образ Судьбы и погрузив высокое в повседневное (Парка и бабья болтовня, жизнь и мышья беготня), Пушкин не останавливается на этой трактовке «вечной» темы. Кажущаяся бессмысленность, суетность, никчёмность бытия ставится им под сомнение: нагнетаются безответные вопросы, повторяются раздельительные союзы «или», не расширяваясь многозначные «ты» и заканчивается стихотворение безытоговым финалом с синонимическим усилением: «Я понять тебя хочу./Смысла я в тебе ищу...». По наблюдениям Е. А. Маймина, в философских стихах Пушкина «почти не встречается не только примерных уроков, но и окончательных решений», что нередко приводит к композиционной «незавершённости» поздних пушкинских произведений (Маймин Е. А. О философской лирике Пушкина//Пушкинский сборник. Псков, 1972. С. 66).

Таким образом, на тютчевские вещи предсказания Пушкин ответил принципиальным отказом от прорицаний и поучений.

В XX веке к теме бессонницы обратились несколько поэтов, а некоторые из них по-своему откликнулись и на два классических образца. Так, Иннокентий Анненский дал своему стихотворению из цикла «Бессонницы» (сборник «Тихие песни», 1904) в качестве заглавия пушкинскую строчку «Парки — бабье лепетанье», а начал его почти по-тютчевски: «Я ночи знал» (у Тютчева «Я очи знал»). Очевидно, Анненского привлекло сочетание мифологии с обыденностью, что было характерно и для его поэтического стиля. Оттого не сама Парка является перед поэтом, а её орудие — *веретено*, и *лепет* его напоминает плеск ручья, задавленного *камнями обвала*.

Пушкинские реминисценции и аллюзии буквально пронизывают всё стихотворение — от *трепетанья* и образа обвала до вводного *бывало* и деепричастия *томя* (ср. *томим*, *томит*). Правда, у Пушкина *трепетанье* относится к ночным шорохам, а у Анненского — к душевному состоянию лирического героя; *лепетанье* обозначает реальное действие (бормотанье), а *лепет* — метафора звуков, издаваемых крутящимся веретеном (Григорьева А. Д. «Мне не спится...»: К вопросу о поэтической традиции // Известия АН СССР. ОЛЯ. 1974. Т. 33. № 3). Да и сам процесс творчества показан Анненским в пушкинском ключе: *мечта и труд, мысль они зовут* — для Пушкина вдохновение и труд неразрывны («приют спокойствия, трудов и вдохновенья» — «Деревня»; «жаль мне труда, молчаливого спутника ночи» — «Труд»; «плоды мечты моей», «мысли в голове волнуются в отваге» — «Осень»).

В отличие от всемирных ночей Тютчева и сегодняшней, единичной ночи без сна Пушкина, Анненский описывает два типа бессонницы — исполненных творческого горения и волнения, «мечты и труда» и бездуховных, мертвенно-пустых, заполненных страхом смерти. Первые пролетают, как минуты ожидания любовного свидания (ср. «Как ждёт любовник молодой/Минуты верного свиданья»), вторые влачатся, как вода, остановленная камнепадом.

Томя и нежа ожиданьем,
Они, бывало, промелькнут,
Как цепи розовых минут
Между запиской и свиданьем.

Но мая белого ночей
Давно страницы пожелтели...
Теперь я слышу у постели

Веретено — и, как ручей,
Задавлен камнями обвала,
Оно уж лепет обрывало...

Оригинальна символика этого стихотворения. Символ юности — «цепи розовых минут», традиционный по строению (СиПрСр), включает в себя розовый цвет юных мечтаний и иллюзий, их краткость, минутность и ощущение прикованности, несвободы (*цепи*). Переход от молодости к старости символизируют пожелтевшие страницы, но не книги, а *белых ночей мая* (синтаксически сложная конструкция — СрПрСрСи), приближение же смертного часа — замолкающий лепет веретена.

Выбрав, как и Тютчев, самый распространённый в русской поэзии 4-стопный ямб, но необычную для этого размера форму сонета, Анненский варьирует ключевую пушкинскую рифму «лепетанье — трепетанье»: *трепетаньем—очертаньям—ожиданьем—свиданьем* (ср. у Тютчева: «*молчанья — стенанья*»), меняя местами мужские и женские клаузулы (аББа и БааБ), может быть, ориентируясь на прихотливую рифмовку 15-стишного пушкинского шедевра: аББаВВааГГаДДее.

В диалог с Пушкиным вступила в своей «Бессоннице» (1912) и Анна Ахматова, во многом следуя пушкинской традиции: описание данного момента в настоящем времени (*я не сплю*), вслушивание в ночные звуки (*шаги, кошачье мяуканье*) и всматривание в темноту (*полумрак, окна завешены*), воспоминания о дневных впечатлениях (*твои слова*), недомолвки и недоговорённости (вопросы без ответов, какая-то весть, чьи-то слова), игра местоимением «ты», адресованным разным лицам. Но Ахматову занимают не философские проблемы жизни и смерти, хаоса и гармонии, судьбы и творчества, а любовь, разлука, измена, что придаёт ахматовской бессоннице женский облик. И она оживает и становится особой женского пола, подругой героини, её двойником. Беседа идёт не с человечеством, не с судьбой и не с самим собой, а с Бессонницей.

Ты опять, опять со мной, бессонница!
Неподвижный лик твой узнаю.
Что, красавица, что, беззаконница,
Разве плохо я тебе пою?

Вместо глубокомыслия, мрачности и серьёзности — насмешливый тон, заданный первой строкой «Где-то кошки жалобно мяукают» (ср. у Пушкина в «Домике в Коломне»: «И слушала мяуканье котов/По чердакам, свиданий знак нескромный»), и светлый колорит (*белая ткань, полумрак голубой и струится*), и чувство лёгкости и освобождения, несмотря на трёхмесячную бессонницу («Третий месяц я от них не сплю»).

Окна тканью белою завешены,
Полумрак струится голубой...
Или дальней вестью мы утешены?
Отчего мне так легко с тобой?

Всё стихотворение строится на оппозициях и амбивалентных ассоциациях и образах: *хорошо — плохо, баюкают — не сплю, неподвижный лик — красавица и беззаконница, белая ткань — завешены, полумрак — голубой, дальней вестью — утешены, легко — с тобой*. Так кто же кого баюкает? «Твои слова» (возлюбленного, друга?) — меня, или «я» — «тебя», то есть бессонницу? Происходит парадоксальный поворот темы: поэтесса поёт колыбельную песню бессоннице, утешая и успокаивая её и объединяет себя с нею («мы»).

В статье 1910 года о современной женской поэзии М. Волошин, ещё не зная ахматовских стихов, но зная цветаевские и других женщин-стихотворцев (М. Моравской, М. Сабашниковой, Л. Столицы, А. Герцык), заявил: «В некоторых отношениях эта женская лирика интереснее мужской. Она менее обременена идеями, но более глубока, менее стыдлива...» Если второе замечание — о глубине — представляется спорным, то с первым и третьим — об идейности и стыдливости — можно согласиться, особенно по отношению к поэзии Марины Цветаевой.

Теме бессонницы Цветаева посвятила целый цикл из 11 стихотворений (10 написано в 1916 году, последнее — в 1921). Возникновение замысла, возможно, связано с ахматовским стихотворением, тем более, что в это время младшая современница была страстно увлечена поэзией и личностью старшей, назвав её «Музой Плача» и написав в её честь цикл посвящений «Ахматовой». Как и Ахматова, Цветаева олицетворяет бессонницу, беседует с нею, испытывает к ней родственную близость («ты» и «мы»), не боится ночного мрака, любит красотаю ночи. А дальше начинаются расхождения и отталкивание. В отличие от ахматовской, цветаевская ночь не тихая, светлая, прозрачная, а бурная, стихийная, «беззвучно-звонящая», колдовская («Испепели меня, чёрное солнце — ночь!» — № 8); бессонница не пассивно слушает песню, а сама поет её, разговаривает с лирической героиней, даёт ей ласковые прозвища, предлагает себя в чтецы и певцы и в итоге усыпляет «милую мученицу»:

— Спи, успокоена,
Спи, удостоена,
Спи, увенчана,
Женщина. <...>

— Спи, подруженька
Неугомонная,
Спи, жемчужинка,
Спи, бессонная.

Если ахматовской героине бессонница приносит утешение и облегчение, то цветаевской — парение духа, взлёт чувств, упоение жизнью. Желание бодрствовать усиливается от стихотворения к стихотворению, душа и двери по ночам распахнуты настезь: ночная

природа — бессонный лес и сонное поле (№ 2 и 5), ночной город в огнях и с ветрами (№ 3 и 6), обновление души — «улыбаешься людям, как серафим» (№ 4), заветные мечты и предсказания (№ 7), признание в любви к ночи (№ 8), заклинания не спать — «Успеем, успеем, успеем спать!», «Не спи! крепись!» (№ 9), «окно в ночи» с криками встреч и разлук (№ 10) и ночной пир с Бессонницей (№ 11):

— Пей, ласточка моя! На дне
 Растопленные жемчуга...
 Ты море пьешь,
 Ты зори пьешь.

Поразительно, как на протяжении цикла меняется авторское восприятие бессонницы — от привычных представлений о мученическом «теновом венце» и долгожданном приходе сна («Сон — свят. Все спят. Венец — снят») к осознанию преимущества ночи, приносящей освобождение от «дневных уз», к стремлению жить по ночам интенсивнее, чем днём, наконец, к эмоциональному взрыву, «кутежу» с Бессонницей: «О друг! Не обессудь!/Прельстись!/Испей!/Из всех страстей — /Страстнейшая, из всех смертей — /Нежнейшая... Из двух горстей/Моих — прельстись! — испей!» (Наверное, не случайно это экзотическое и эксцентричное стихотворение было посвящено вдове композитора Скрябина, автора «Поэмы экстаза».)

Не успела Марина Цветаева дополнить свой цикл 1916 года последним стихотворением, как на ту же тему откликнулся ещё один поэт — Андрей Белый (Бессонница, 1921), подхватив традиционные «великие вопросы» — в духе романтической иронии. Как и Тютчев, он пишет от лица множественного «мы», но подробно и иронически характеризует «нас» — безотчётные и безотличные, «безличную судьбой» и «привычную гурьбой», плодим вопросы, невзрачно существуем в мелочах и мгновениях. Тютчевский «призрак» жизни и богиня судьбы с её атрибутами у Пушкина и Анненского преображаются у А. Белого в «чернодум» — тень.

Тень, тихий чернодум выходит
 Из угла,
 Забродит
 Мороком ответов;
 Заводит —
 Шорохи...

(Ср. цветаевские строки, где поэт сама сравнивала себя с тенью: «И вот, тоскующая тень,/Стою над спящими друзьями»).

Пушкинскую Парку сменяет у А. Белого Майя, обозначающая в древнеиндийской мифологии иллюзорность бытия, с эпитетом *месячная*, то есть краткосрочная, а *мышью беготню* — брошенная *брызнь* (неологизм от *брызги*, *брызнуть*) со значением «ненужных

мелочей». *Сумрачная даль, на краю земли и всюду мрак* стали *мутительной мелодией*, которая *являет ворохи разбросанных предметов*. Так выстраиваются в один ряд *великие вопросы, морок ответов и ворохи разбросанных предметов* вперемешку с *шорохами*. И начинает казаться, что А. Белый не столько переиначивает предшественников, сколько передразнивает их. А тут ещё в шкафу корчит насмешливые рожи «немой арап», явно ассоциируясь с Пушкиным (бюст или статуэтка).

В то же время ирония А. Белого несёт в себе трагический отсвет: время с его «безразличным крапом» ставит всё и всех на одну доску и не приносит никаких перемен. Если И. Анненский молил судьбу: «О, дай мне только миг, но в жизни, не во сне...», то А. Белый жаждет «всего на миг один» прервать длинную ночь и увидеть «сияющую жизнь». Если И. Анненский сетовал: «О, как я чувствую накопленное бремя/Отравленных ночей и грязно-бледных дней!», то А. Белый тоже сближает ночи и дни, одинаково исковерканные душевными метаниями, сомнениями, мучениями и даёт свою формулу в том же размере — 6-стопном ямбе.

И вот — стоят они, и вот — глядят они,
Как дозирующие очи,
Мои
Сомнением
Испорченные
Дни,
Мои
Томлением
Искорченные
Ночи...

И этот безнадежный вывод своей патетикой, трагедийностью и высоким стилем сближается с лирикой Тютчева (ср. «И наша жизнь стоит пред нами», безумие «стеклянными очами чего-то ищет в облаках»).

При есей индивидуальности и своеобразии каждой «поэтической бессонницы» мы замечаем отчётливые различия между «мужской» и «женской». Первая обычно мрачная, мучительная, трагическая, безысходная. Вторая — светлая, умиротворённая или торжествующая, жизнелюбивая. Мужчин страшат бессонные ночи, вызывая мысли о смерти, муки совести, смущая душу сомнениями, напоминая о мировом хаосе и дисгармонии. Женщины относятся к отсутствию сна спокойнее и терпимее и подчас находят в этом удовлетворение и наслаждение, а бессонницу воспринимают не как повод для «великих дум», но как живое существо, собеседницу и подругу, даже отождествляя себя с ней.

В общем мужская «бессонница» — более философична, женская — более эмоциональна.

Конечно, это противопоставление не безусловно и имеет исключения. Так, любовно-элегической бессонницей («На помощь с тоской и слезами/Зову я твой образ родной!») «страдал» А. Н. Апухтин в стихотворении «Бессонница», а ранний Михаил Кузмин написал два стихотворения (сборник «Сети», 1908) — эротическое «Мне не спится: дух томится...» с пушкинским зачином, но полемичное по отношению к Пушкину, ибо терзает автора «любовная скука» и томится не дух, а плоть; и самоироничное «Вновь я бессонные ночи узнал...» (возможна переключка с «Я ночи знал» И. Анненского), в котором поэт посмеивается над собой: то ли влюблён, то ли нездоров, то ли чаю перепил, и, чтоб «нагнать» сон, читает давно известные книги, и ему слышится ласковый голос: «Умри, умри».

А что мешает спать поэтам в середине и в конце XX века? — «О, дай нам Бог внимательных бессонниц...» (Б. Чичибабин).

Алма-Ата



ВАЛЕРИЙ БРЮСОВ

По происхождению Брюсов — из крестьян-костромичей, принадлежавших, по всем вероятностям, когда-то известному деятелю петровской эпохи Якову Брюсу. Дед поэта выкупился из крепостных и основал торговое дело в Москве, разбогател во время Крымской войны; отец учился в Петровской сельскохозяйственной академии, был образованным человеком, даже писал стихи, к концу жизни от купеческих дел отошёл.

Валерий Яковлевич родился в 1873 году в Москве, в Милютинском переулке (ныне улица Мархлевского), затем, с восьмидесятых годов, семья жила в приобретённом доме на Цветном бульваре; последние десять с лишним лет жизни Брюсов занимал нижний этаж дома 30 по Первой Мещанской (ныне Проспект Мира, дом сохранился). После гимназии юноша окончил историко-филологический факультет Московского университета (1899). В 1894—1895 годах выпустил три сборника «Русские символисты», где печатал преимущественно свои стихи и переводы, а также стихи своих литературных приятелей. Первая отдельная книга поэта под вызывающим названием «Chefs d'oeuvre» («Шедевры») вышла в 1895 году. Вскоре появился и второй сборник стихов — «Me eum esse» («Это — я»).

Брюсов пришёл в русскую поэзию типичным декадентом, эгоцентриком, воспринимающим мир как нечто мучительное и к себе враждебное. Разрушая штампованную поэтику надсоновских времён, он прибегал к странным, порой алогичным образам («дремлет Москва, словно самка спящего страуса», «всходит месяц обнажённый при лазоревой луне» и т. д.), воспевал мечту, экзотические видения, отрицал современность, злоупотреблял эротикой. Читателей эти стихи чаще всего раздражали, вызывали протест. Его поэзия стала предметом насмешек и глумления, на многие годы Брюсов оказался отлучённым от печати. Но по мере завоевания позиций «новым искусством» Брюсов, проявив немалую волю, занял своё место в литературе и стал мэтром, вождём мос-

ковских символистов. Он выступил как организатор книгоиздательства «Скорпион», альманаха «Северные цветы», журнала «Весы» — главного символистского органа. На рубеже веков Брюсов опубликовал самые весомые, значительные свои книги стихов, определившие его лицо на Парнасе, — «Tertia vigilia» («Третья стража», 1900), «Urbi et Orbi» («Городу и миру», 1903), «Stephanos» («Венок», 1906), «Все напевы» (1909). Широка поэтического диапазона, чеканно-героическая интонация стиха, обострившееся внимание поэта к реальной жизни как бы отодвинули вызывающий образ молодого декадента в прошлое. Символисты — и не только они — оценили эти замечательные книги Брюсова очень высоко. «Брюсов теперь первый в России поэт», — утверждал в рецензии на «Urbi et Orbi» Андрей Белый. Блок увидел в этой книге «ряд небывалых откровений, озарений почти гениальных». «Быть рядом с Вами я не надеюсь никогда», — писал он в письме к Брюсову.

«Поэтом бронзы и мрамора» называли Брюсова. Лучшие его стихи подобны горячему сгустку лавы, у них медное звучание, трубный голос. Как говорил А. В. Луначарский, Брюсов «любит камень и металл больше, чем лучи, газ и пары, любит весомую, подчинявшуюся чеканке природу, более, чем неуловимое и невыразимое». Он стремится «захлестнуть, как арканом, свой предмет, очертить его им, как крепкой графической линией». По слову Блока, у Брюсова — «стальные строки». Поэт любит «меру, число, чертёж», он художник преимущественно зрения, а не слуха. В расчерченной, вымеренной архитектонике, где действуют, как у ваятеля, прежде всего резец и молот — сила Брюсова. Сжатость, мужественная твёрдость и метрическая отчётливость, «ёмкий строфический сосуд» (определение Осипа Мандельштама) — характерные черты его поэзии.

Несмотря на лидирующую роль Брюсова в символистском движении, его позиция среди поэтов этого течения была особенной. Как он позднее определял её сам, это был «реализм в символизме», «позитивизм в идеализме». Брюсов отстаивал автономность искусства, утверждая, что искусство не должно выходить за пределы своего назначения, ставя религиозные или «жизнестроительные» задачи. Как и Блок, Брюсов обладал обострённой чуткостью к социальным сдвигам, к поступи истории, ощущал обречённость русского самодержавного строя, называя его «позорно-мелочным, неправым, некрасивым». Переход Брюсова на сторону революции и советской власти можно объяснить широтой его исторических воззрений.

Брюсов был выдающейся фигурой в русской культуре начала века не только как поэт, но и как прозаик, автор романов «Огненный ангел» и «Алтарь победы», как превосходный историк литературы, переводчик, критик, теоретик стиха. Человек энциклопедических знаний, он в созданном им после революции литературно-художественном институте мог читать лекции по истории математики и по

сравнительной грамматике индоевропейских языков, мог написать книгу об Атлантиде, в былое существование которой он, как и все символисты, верил. В глазах современников Брюсов являл пример сочетания поэта и учёного. Древность человечества, завоевание космоса, оккультные науки, — всё хотел охватить он в своей жажде знаний. А в литературе он едва ли не больше всего любил Пушкина и великих поэтов Древнего Рима.

Ещё до революции грубые нападки на творчество Брюсова предпринимал литературовед Ю. Айхенвальд. Он поносил Брюсова, называя его «илотом искусства», «преодоленной бездарностью», а его творчество — «риторикой», «сухой пылью прозы». В статье с ироническим названием «Герой труда», уже после революции, когда некоторые старые интеллигенты травили и Блока, и Брюсова, Айхенвальду по существу вторила Марина Цветаева, обличая поэта в сальеризме. Налёт рационализма во многих произведениях Брюсова и недостаток эмоциональной пронзительности и музыкальности, чем завораживают, например, стихи Блока, давал повод этим критикам отрицать и чернить всё его творчество, содержащее, по зрелому размышлению, в лучших своих образцах немало свежего и новаторского.

В послеоктябрьские годы Брюсов настойчиво искал новые темы и ритмы, новое слово в поэзии, хотя успеха добивался не часто, — и всё же создав несколько сильных стихотворений. В ту пору он выступал учителем молодых поэтов, проявлял глубокую заботу о будущем нашего искусства. Его обстоятельные и изящные литературные обзоры и рецензии тех лет — свидетельство объективности и проницательности, его истинно товарищеского отношения к молодым авторам, выходящим из рабочих и крестьян. Не было и тени надменности старого мэтра! Брюсов ценил талант Маяковского и Есенина, любил дарование Пастернака. «Все мы учились у него, — писал Сергей Есенин, откликаясь на смерть Брюсова в октябре 1924 года. — Все мы знаем, какую роль он играл в истории развития русского стиха...»

Н. В. Банников ©



На журчащей Годавери

Лист широкий, лист банана,
На журчащей Годавери,
Тихим утром — рано, рано—
Помоги любви и вере!

Орхидеи и мимозы
Унося по сонным волнам,
Осуши надеждой слёзы,
Сохрани венки мой полным.

И когда, в дали тумана,
Потеряю я из виду
Лист широкий, лист банана,
Я молиться в поле выйду;

В честь твою, богиня Счастья,
В честь твою, суровый Кама,
Серьги, кольца и запястья
Положу пред входом храма.

Лист широкий, лист банана,
Если ж ты обронишь ношу,
Тихим утром — рано, рано—
Амулеты все я сброшу.

По журчащей Годавери
Я пойду, верна печали,
И к безумной баядере
Снизойдёт богиня Кали!

1894

Творчество

Тень несозданных созданий
Кольхается во сне,
Словно лопасти латаний
На эмалевой стене.

Фиолетовые руки
На эмалевой стене
Полусонно чертят звуки
В звонко-звучной тишине.

И прозрачные киоски,
В звонко-звучной тишине,
Вырастают, словно блёстки,
При лазоревой луне.

Всходит месяц обнажённый
При лазоревой луне...
Звуки реют полусонно,
Звуки ластятся ко мне.

Тайны созданных созданий
С лаской ластятся ко мне,
И трепещет тень латаний
На эмалевой стене.

1895

Юному поэту

Юноша бледный со взором горящим,
Ныне даю я тебе три завета.
Первый прими: не живи настоящим,
Только грядущее — область поэта.

Помни второй: никому не сочувствуй,
Сам же себя полюби беспредельно.
Третий храни: поклоняйся искусству,
Только ему безраздумно, бесцельно.

Юноша бледный со взором смущённым!
Если ты примешь моих три завета,
Молча паду я бойцом побеждённым,
Зная, что в мире оставлю поэта.

1896

* * *

Когда сию один и в комнате темно,
И кто-то за стеной играет долго гаммы,—
Вдруг фонари зажгут, и свет, пройдя в окно,
Начертит на стене оконные две рамы;
И мысляю я тогда, усталый и больной:
— Фонарь, безвестный друг! ты близок! ты — со мной!

А после из-за крыш подыметя луна,
И, вспыхнув, облака уйдут, как фимиамы,
И светлый луч луны, пройдя стекло окна,
Начертит явственней оконные две рамы;
О, как я оживлён! дрожа, мечтаю я:
— Луна, заветный друг! ты близко! ты — моя!

22 ноября 1898

* * *

На этих камнях, вытесанных морем,
Последний жрец, пишу сказанья дней.
Мы, смертные, с богами мира спорим,
Но мир для них — род тёсаных камней!
Как я черчу на бело-твёрдых плитах
За знаком знак: ответ свой и вопрос,
Так боги пишут на веках открытых

Столбцы своих неистребимых грёз.
Всё то, чем жили мы, отцы и деды, —
Быть может, сон и песня божества,
И наших ратей прошлые победы
В той скорбной песне — громкие слова!

1903

Помпеянка

«Мне первым мужем был купец богатый,
Вторым поэт, а третьим жалкий мим,
Четвёртым консул, ныне евнух пятый,
Но кесарь сам меня сосватал с ним.

Меня любил империи владыка,
Но мне был люб один нубийский раб,
Не жду над гробом: „casta et pudica“*,
Для многих пояс мой был слишком слаб.

Но ты, мой друг, мизиец мой стыдливый!
Навек, навек тебе я предана.
Не верь, дитя, что женщины все лживы:
Меж ними верная нашлась одна!»

Так говорила, не дыша, бледнея,
Матрона Лидия, как в смутном сне,
Забыв, что вся взволнована Помпея,
Что над Везувием лазурь в огне.

Когда ж без сил любовники застыли
И покори́л их необорный сон,
На город пали груды серой пыли,
И город был под пеплом погребён.

Века прошли; и, как из алчной пасти,
Мы вырвали былое из земли.
И двое тел, как знак бессмертной страсти,
Нетленными в объятиях нашли.

Поставьте выше памятник священный,
Живое изваянье вечных тел,
Чтоб память не угасла во вселенной
О страсти, перешедшей за предел!

17 сентября 1901

* Чистая и целомудренная (лат.)

Каменщик

— Каменщик, каменщик, в фартуке белом,
Что ты там строишь? Кому?

— Эй, не мешай нам, мы заняты делом,
Строим мы, строим тюрьму.

— Каменщик, каменщик, с верной лопатой,
Кто же в ней будет рыдать?

— Верно, не ты и не твой брат, богатый.
Незачем вам воровать.

— Каменщик, каменщик, долгие ночи
Кто ж проведёт в ней без сна?

— Может быть, сын мой, такой же рабочий.
Тем наша доля полна.

— Каменщик, каменщик, вспомнит, пожалуй,
Тех он, кто нёс кирпичи!

— Эй, берегись! Под лесами не ба́луй...
Знаем всё сами, молчи!

16 июля 1901

Грядущие гунны

Топчи их рай, Аттила.

Вяч. Иванов

Где вы, грядущие гунны,
Что тучей нависли над миром!
Слышу ваш топот чугунный
По ещё не открытым Памирам.

На нас ордой опьянелой
Рухните с тёмных становий—
Оживить одряхлевшее тело
Волной пылающей крови.

Поставьте, невольники воли,
Шалаши у дворцов, как бывало,
Всколосите весёлое поле
На месте тронного зала.

Сложите книги кострами,
Пляшите в их радостном свете.

Творите мерзость во храме, —
Вы во всём неповинны, как дети!

А мы, мудрецы и поэты,
Хранители тайны и веры,
Унесём зажжённые светы
В катакомбы, в пустыни, в пещеры.

И что, под бурей летучей,
Под этой грозой разрушений,
Сохранит играющий Случай
Из наших заветных творений?

Бесследно всё сгибнет, быть может,
Что ведомо было одним нам,
Но вас, кто меня уничтожит,
Встречаю приветственным гимном.

10 августа 1905

Век за веком

Взрывают весенние плуги
Корявую кожу земли, —
Чтоб осенью снежные вьюги
Пустынный простор занесли.

Краснеет лукаво гречиха,
Синеет младенческий лён...
И вновь всё бело и всё тихо,
Лишь волки проходят как сон.

Колеблются нивы от гула,
Их топчет озлобленный бой...
И снова безмолвно Микула
Взрезает им грудь бороздой.

А древние пращурь зорко
Следят за работой сынов.
Веглой наклоняясь с пригорка,
Туманом вставая с лугов.

И дальше тропой неизбежной,
Сквозь годы и бедствий и смут,
Влечётся, суровый, прилежный,
Веками завещанный труд.

Январь 1907

Наш демон

*У всякого человека свой демон.
Менандр*

У каждого свой тайный демон.
Влечёт неумолимо он
Наполеона через Неман
И Цезаря чрез Рубикон.

Не демон ли тебе, Россия,
Пути указывал в былом, —
На берег Сити в дни Батые,
На берег Дона при Донском?

Не он ли вёл Петра к Полтаве,
Чтоб вывести к струям Невы,
И дни Тильзита, дни беславий,
Затмил пыланием Москвы?

Куда ж теперь, от скал Цусимы,
От ужаса декабрьских дней,
Ты нас влечёшь, неодолимый?
Не видно вех, и нет путей.

Где ты, наш демон? Или бросил
Ты вверенный тебе народ,
Как моряка без мачт и вёсел,
Как путника в глуши болот?

Явись в лучах, как страж господень,
Иль встань, как призрак гробовой,
Но дай нам знак, что не бесплоден
Столетний подвиг роковой!

1908

Больше никогда

*Когда Данте проходил по улице,
девушки робко шептали:
«Видите, как лицо это опалено
адским пламенем!»*

Летописец XIV века

Больше никогда на нежное свиданье
Не сойду я в сад, обманутый луной,

Не узнаю сладкой пытки ожиданья
Где-нибудь под старой царственной сосной.

Лик мой слишком строгий, как певца Inferno,
Девушек смущает тайной прошлых лет,
И когда вдоль улиц прохожу я мерно,
Шёпот потаённый пробегает вслед.

Больше никогда, под громкий говор птичий,
Не замру вдвоём у звонко-шумных струй...
В прошлом — счастье встречи, в прошлом — Бе-
атриче,
Жизни смысл дающий робкий поцелуй!

В строфах многозвучных, с мировой трибуны,
Может быть, я вскрою тайны новых дней...
Но в ответ не встречу взгляд смущённо-юный,
И в толпе не станет чей-то лик бледней.

Может быть, пред смертью, я венок лавровый
Смутно угадаю на своём челе...
Но на нём не лягут, как цветок пунцовый,
Губы молодые, жаркие во мгле.

Умирают молча на устах признанья,
В мыслях скорбно тают страстные слова...
О, зачем мне снятся лунные свиданья,
Сосен мягкий сумрак и в росе трава!

1914

Будь мрамором

*Ты говоришь: ограда меди ратной...
Адалис*

Будь мрамором, будь медью ратной,
Но воском, мягким воском будь.
Тепло судьбы благоприятной
Всем существом умеи вдохнуть.

Так, не сгорая и не тая,
Преображай знакомый лик,
Предельный призрак выдвигая,
Как свой властительный двойник.

Захвачен вихрем ярко-юным,
Что в прах свергает алтари,
Гори восторженным трибуном,
Зов бури вольно повтори.

Меж «юношей безумных», вкован
В живую цепь, к звену звено,
Славь, с неустанностью взволнован,
Беспечность, песни и вино.

В сонм тайный мудрецами принят,
Как древле Пирр в совет царей,
Всё, что исчезло, всё, что минет,
Суди всех глубже, всех мудрей.

А в поздний час, на ложе зыбком,
В пыланье рук включён, как в сеть, —
Улыбкой дарственной — улыбкам,
Мечте — мечтой любви ответь.

Являй смелей, являй победней
Свою стообразную суть,
Но где-то, в глубине последней,
Будь мрамором и медью будь.

4 сентября 1920

Мих. Осоргин

ПЕРЕВОДЧИКИ И ПЕРЕВОЗЧИКИ *

В языках французском и итальянском «переводчик» отличается от «предателя» только двумя буквами: по-русски плохих переводчиков называют «перевозчиками». Каждому автору хочется, чтобы в переводе его произведения сохранилось его «лицо», его стиль, во всяком случае не было больших искажений. Чем своеобразнее его язык, тем труднее переводчику его передать; важна точность, ещё важнее дух. Этот «дух» в вечной борьбе с точностью. Старинный английский поэт сэра Джон Денем сказал: «Лишь гений гения перевести способен». Но вопрос о гениях не очень злободневен, тем более, что найти сразу двоих гениев довольно мудрено. На практике мысль английского поэта сводится к правилу: хороший переводчик берётся за перевод только такого автора, который ему созвучен, — как хороший актёр выступает только в «своих» ролях.

Русская культура в большой мере создана переводами учёных и художественных произведений, и можно смело сказать, что ни один народ не знает так хорошо литературу других народов, как русский. Поэтому для нас вопрос о переводах — важнейший и всегда злободневный. В пореволюционное время стали много переводить и русских авторов, советских и зарубежных, причём переводчиками оказываются по большей части также русские, чему радоваться, впрочем, не приходится: «дух», может быть, и выигрывает, но художественность теряет. Во всяком случае, полезно ознакомиться с некоторыми обычными ошибками переводов и с принципами этой серьёзной работы.

Первое условие — отличное знание обоих языков. Уметь «болтать» на чужом языке и даже уметь свободно писать на нём письма и собственные статьи, — далеко не полная гарантия правильности перевода. И свой язык мало кто знает вполне хорошо, а знать чужой чрезвычайно трудно. Второе условие — способность к художественному воспроизведению подлинника, то есть личная литературная способность. Далее умение владеть языком эпохи и стилем среды, в которой развивается действие. Нельзя книгу старинную перевести совершенно современным языком, но вряд ли можно эпоху Лю-

* Статья русского писателя Михаила Андреевича Осоргина взята нами из парижских «Последних новостей» (1936. № 5541) с сохранением особенностей авторской орфографии и пунктуации.

довика XVI передать русским екатерининским языком. Переводчик должен искать и творить, — многим ли это доступно?

Ошибки переводчиков, попросту не знающих достаточно иностранный язык, могут заполнить целый томик анекдотов.

В только что вышедшей книжке К. Чуковского «Искусство перевода» приводится несколько забавных переводческих оплошностей. В телеграмме Бернарда Шоу Горькому, напечатанной во многих советских газетах, высказывается весьма резкое мнение о безвольных и вялых героях Черри Орчарда и отдаётся предпочтение героям Горького. На этого английского буржуазного писателя мистера Орчарда немедленно набросились газеты, высказав ему полное порицание, но оказалось, что «Черри Орчард» не существует, а значит «Вишнёвый сад»: Бернард Шоу имел в виду Чехова. Переводчик Вал. Стенич (считающийся очень опытным) «перевёз» с немецкого французский роман Шарля Луи Филиппа, «Мари Донадьё», где внучка посылает из Парижа деньги старому дедушке и пишет ему: «Сходи на эти деньги к девочкам, чтобы не утруждать бабушку». В немецком переводе стояло «мэдхен», то есть внучка советовала дедушке взять служанку, чтобы облегчить хозяйственные заботы бабушки, — но у переводчика оказалось дурное воображение.

Редактор Лемке, переводя записку Герцена к Огарёву, не понял французского термина *entrefilet* (в данном случае «вставная статейка») и добросовестно и точно преподнёс такую фразу: «Возьми мою междуфилейную часть о Мазаде. Я пришлю на днях». В одном переводе романа Голсуорси английские слова *Tower of Babel* (Вавилонская башня) переведены «Башня Бабеля». В другом романе *le plongeur a l'hotel* переведено «пловец в гостинице». В недавнем издании Диккенса среди других нелепостей есть такое понимание английского *mapu harpu returns* (желаю вам всяких благ): «Желая вам как можно чаще возвращаться с того света». В данном случае переводчик принял фразу за острое словечко и несколько усилил её смысл.

Нужно ли вообще переводить точно, и что значит точность? Бывают фразы непере译имые, чаще всего каламбуры, которым трудно найти соответствия на чужом языке; но речь не об этом. Некоторые переводчики указывают на неприемлемость для обычного читательского, скажем, — французского, образа мышления некоторых категорических высказываний русского автора, будто бы читатель не поймёт. Мне пришлось отказаться от перевода моего романа, сделанного точно, но отредактированного очень культурным и даже литературным французом, который, якобы в моих авторских интересах, сделал некоторые добавки, придавшие высказанным мыслям прямо противоположное значение, так как «это больше соответствует французскому мышлению».

Иное дело, когда переводчик просит выпустить отдельную фразу, потому что она в данной стране прозвучит слишком резко и погубит

книгу (то есть простая цензура). Но некоторые переводчики считают себя в праве не только изменять смысл выражений, но и вообще перекраивать текст по-своему, не щадя и содержания. Переводчик Антуан Прево (середины XVIII века) выбросил описание смерти из знаменитого романа Ричардсона, как слишком мрачное, пояснив в предисловии, что переводчик должен прилагать все усилия, чтобы доставить читающей публике приятное чтение, а в другом романе изменил последние главы, придав «общевропейский характер тем нравам, которые слишком отзываются Англией и могли бы шокировать французских читателей». Переводчик Стерна нашёл неудачными шутки и остроты английского юмориста и заменил их своими. Дидро перевёл одну философскую работу совсем оригинально: по собственному признанию, он её прочитал, закрыл книгу и «перевёл» на память. Жуковский находил, что у Сервантеса не везде «очищенный вкус» и некоторые картины «Дон Кихота» слишком растянуты; поэтому в своём переводе он «выбросил то, что не могло быть достойно перевода». Несколько милостивее поступал Достоевский, переводя Бальзака с переделкой на истинно российский манер; герои Бальзака употребляют такие выражения, как «дескать», «держи язык за зубами», «доход чистоганчиком» или, по-гоголевски — «Аббат Крюшо — претонкая штучка!»

Иногда переводчики старались «патриотически» приспособлять иностранные произведения. В своё время «Гамлет» был переведён С. Висковатым, у которого Гамлет-отец восклицал: «Отечество! Тебе пожертвую собой!» Это было сделано для того, чтобы служить «целям сплочения русского общества вокруг престола и царя для борьбы с надвигающимися наполеоновскими полчищами», чего Шекспир предусмотреть не мог. Чуковский указывает, что в некоторых национальных словарях из каких-то соображений слово «революция» переведено — изменения, «баррикада» — загородка, а «большевик» — зазнавшийся. Последнее в русско-марийском (то есть черемесском) словаре издания 1928 года.

Любопытно, что в недавнем советском издании «Давида Копперфильда» (М., 1929) англичанин говорит извозчику: «Пошёл!— Куда прикажете?— Куда хочешь!». Не говоря уже о том, что англичане говорят «ты» только Богу, подобный разговор с извозчиком в Лондоне вообще не мыслим.

Диккенса для русских читателей «создал», главным образом, Иринарх Введенский, один из талантливейших и одновременно отчаянных русских переводчиков. Диккенса он, действительно, «чувствовал», но совершенно с ним не считался, как с автором, заслуживавшим неприкосновенности мыслей и выражений. Приведу из книги Чуковского несколько примеров переводческой смелости этого «специалиста по отсебятине».

Введенскому не нравилась лаконичность Диккенса. Давида Коп-

перфильда посылают к одному капитану за ножом и вилкой; капитан-неряха, как и его жена и его вечно непричёсанные дочери. Давид говорит:

— Слава Богу, что меня послали к нему за ножом и вилкой, а не за гребнем.

Слишком кратко и тонко. Переводчик добавляет от себя:

— Хорошо, что послали меня сюда за вилкой и ножом: капитан Гопкинс не мог бы, вероятно, ссудить меня гребнем: он и сам был в чрезвычайно растрёпанном состоянии, и волосы торчали щетинами на его косматой голове.

Простую фразу Диккенса «Самые чёрные дни слишком хороши для такой ведьмы» Введенский переводит: «А что касается до водяной сволочи, то она, как известно, кишмя кишит в перувианских рудниках, куда и следует обращаться за ней на первом корабле с бембазиновым флагом». «Жития святых мучеников» у переводчика превращаются в «Похождения героев кувыркательной процессии», — возможно, впрочем, в целях цензурных. Слишком холодное «Я её поцеловал» — передаётся ярким: «я запечатлел поцелуй на её вишнёвых губах»; вместо «она заплакала» — «слёзы показались на прелестных глазах милой малютки» и даже вместо слова «приют» появляется «приют, где наслаждался я мирным счастьем детских лет», как вместо слова «дом» — «фамильный наш сосредоточенный пункт моих детских впечатлений». Одновременно у Введенского встречаются и маленькие неточности. Великосветская дама спрашивает у лакея в присутствии гостя:

— Где теперь мисс Домби?

— В уборной.

— Введите нас туда.

В подлиннике стоит не уборная, а малая гостинная, но не понявший слова переводчик этим не смущается. От него же читатель узнаёт, что «спикер» это — «самый громогласный оратор нижней палаты».

С таким Диккенсом нас познакомил и породнил Введенский, создавший особую теорию перевода. Сам он писал, обращаясь к переводчикам: «Перенесите переводимого вами писателя под то небо, под которым вы дышите, и в то общество, среди которого вы развиваетесь, перенесите и предложите себе вопрос, какую бы форму он сообщил своим идеям, если бы жил и действовал при одинаковых с вами обстоятельствах». И правда, в его переводе диккенсовские герои говорят «ты» лакеям, «шныряют» в подворотни, ходят по трактирам, носят бекеши и фуражки и живут на российский уездный манер. Русификация переводчику вполне удалась. Такой же русификацией стиля грешила и другая известная (и во многих отношениях превосходная) переводчица с английского М. А. Шишмарёва, введившая в речь британских джентльменов выражения «и мы не лыком шиты», «не-

чего лясы точить», «милые бранятся только тешатся», «пропала моя головушка», «помаленьку да полегоньку», даже заимствованное у Грибоедова — «с толком, чувством, с расстановкой». В одном месте слова «Спасибо Тебе Господи, за вкусный завтрак» — она перевела: «Благодарю Тебя, Христе Боже наш, яко насытил еси мя земных Твоих благ».

Отличилась и переводчица Е. Г. Бекетова, так передав песенку героев Диккенса («иппи-дол-ли-дол, иппи-дол-ди-дол, иппи-ди»):

— Ай-люли! Ай-люли! Разлюлюшеньки мои!

После чего певцы «захрапели во всю ивановскую».

Всё это, конечно, крайности, но примеры любопытны тем, что взяты у переводчиков известных, считавшихся образцовыми. Может быть, сейчас такие фокусы стали редки, но поручусь, что и сейчас попадаются изумительные образчики «перевоза» известных авторов на будто бы русский язык. Лишь на этих днях я получил изданную в Америке книжку, в которой напечатан авторизованный перевод с английского (не назову ни автора, ни переводчика) с такой, например, фразой: «Не обращая внимания на них, но забирая вздутое желеобразное тело под громадными выпученными глазами, кит принялся спокойно поглощать его (спрута) тем же рассеянным образом, что и во время проедания пути сквозь косяк головлей накануне». В этом стиле исполнен весь перевод отличного рассказа.

Хороший переводчик — счастье автора; плохой — величайшее мученье. Те, кому приходится постоянно иметь дело с переводчиками их произведений, вероятно согласятся со мной, что лучший переводчик, не полагаясь на одного себя, работает в ближайшем сотрудничестве с автором, обращаясь к нему при малейшем затруднении. Даже переводчику на незнакомый язык автор может дать нужные указания, пояснив непонятное ему выражение и растолковав свою мысль. Иногда важно дать справку историческую, поправить начертание имён собственных, указать источник цитат (библейских, евангельских, где текст общепринят и неизменен), порой настойчиво попросить о предельной точности перевода важного для автора места, в ином случае предоставить переводчику право изменения фразы, которая точному переводу не поддаётся.

Но главное — мало, если переводчик знает хорошо язык подлинника: ещё лучше, в совершенстве он должен владеть языком, на который переводит. Это кажется бесспорным — и как редко даже среди переводящих на родной язык!..

Публикация В. В. Щекотиной ©



ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ВЫМЫСЕЛ ОРУЭЛЛА И РЕАЛЬНЫЙ СОВЕТСКИЙ ЯЗЫК

Е. Н. БАСОВСКАЯ

После первой публикации в нашей стране в 1989 г. антиутопии английского писателя Дж. Оруэлла «1984» в отечественной публицистике стало широко употребляться слово «новояз» — перевод неологизма «newspeak». Это слово было изобретено Оруэллом для обозначения искусственного языка, созданного на основе естественного — английского — идеологами вымышленного тоталитарного государства. Мы полюбили термин «новояз». Нас, в отличие от героини А. Толстого, боявшейся слова «совдеп», сложносокращенными монстрами не запугаешь: велика сила привычки. «Новояз» вошел в моду.

Давайте внимательно прочтем приложение к оруэлловскому роману — главу, посвященную новоязу. Цель нового языка — «обслуживать идеологию ангсоца (английского социализма)», «сде-

лать невозможными любые иные течения мысли». Печально знакомое советским людям стремление к единообразию, единодушию, единомыслию.

Термин «новояз» не случайно приобрел популярность в современной России. Осмысливая недавнее прошлое, многие историки и журналисты так или иначе затрагивают тему официального языка, «la langue de bois» («деревянного языка»), по выражению французских лингвистов (Михеев А. Язык тоталитарного общества // Вестник АН СССР. 1991. № 8. С. 130). В современной публицистике прослеживается тенденция видеть в языке мощное средство идейного порабощения людей, более того — рассуждать о власти языка, под которую попадает человек.

Концепция «русского новояза», созданного властью для подавления свободомыслия, нашла яркое отражение в работе Г. Ч. Гусейнова «Ложь как состояние сознания» (Вопросы философии. 1989. № 11), послужившей одним из важнейших стимулов к написанию данной статьи. Г. Ч. Гусейнов проанализировал процессы, которые произошли в русском языке в сталинскую эпоху. Язык назван эффективным инструментом осуществленного в России социального эксперимента. Один из постулатов коммунистических лидеров состоял в том, что пользователь языка становится его хозяином. Исследователь не отрицает этого, напротив, подтверждает предположение примерами того, как трансформировались официальной идеологией значения слов, насаждался словесный фетишизм и т. д.

Глубокое сходство новояза из книги Дж. Оруэлла и модели тоталитарного языка, предложенной Г. Ч. Гусейновым, проявляется, по-моему, в весьма существенном совпадении. В романе «1984» упоминаются партийные лозунги «Война — это мир», «Свобода — это рабство», «Незнание — это сила». Таким способом идеологи навязывают населению страны искаженное, противоположное исконному, понимание простых, общеупотребительных слов. О том же явлении пишет Г. Ч. Гусейнов применительно к сталинскому периоду отечественной истории: «Когда сегодня свидетели... и жертвы эпохи, вспоминая о ней, говорят о „любви“ к вождю, о „радости“ и „энтузиазме“ тех лет, им можно и нужно верить, но с поправкой: лексикологический фокус, проделанный с ними бывшим семинаристом и его братией, состоял в том, что это было взаимное чувство, только один устрасал и насилывал, а другие боялись и ненавидели, но в стране, где все были призваны „петь и смеяться, как дети“, совокупность этих чувств и действий называлась „любовью“. Подобно тому как предательство переименовывалось в эксперименте в высшую форму верности, а доносительство — в высшую форму честности».

И все-таки обратим внимание на ту грань оруэлловской фантазии, которая обычно не обсуждается. Новояз был искусственно

создан и принудительно введен в вымышленном тоталитарном государстве, он любимое дитя и послушное орудие партии, которая отвела около девяноста лет на полное вытеснение старого языка новым. Причем, читая роман, убеждаешься, что задуманное будет выполнено в срок — настолько оболванено, запугано, побеждено население придуманной писателем державы. Планомерная замена одних слов другими, аккуратное и четкое преобразование грамматики и словообразовательной системы, ясные семантические изменения — все это требует от носителей языка исполнительности и старательности.

Реальный же исторический опыт России показывает, что коммунистической партии не было ни малейшей надобности изобретать и насаждать новояз. Он, вернее его советский брат, родился сам, и если его матерью на самом деле стала идеология, то уж отцом безусловно было невежество. Мне думается, английский писатель не учел в своей блестящей антиутопии одного важного жизненного факта — крайнего бескультурья тех, кого привела к власти революция (не вдаваясь в социально-политические дебри, хочу отметить, что, вероятно, поэтому выдуманная оруэлловская тоталитарная система жизнеспособнее реальной, сгнувшей в бездне экономического кризиса).

Проверить это предположение мне поможет текст, извлеченный ненадолго из мира торжествовавшей сталинщины. Передо мной 4-й номер журнала «Новый мир» за 1952 год (далее в скобках указывается номер страницы по этому изданию). Остается одиннадцать месяцев до смерти вождя. Советский тоталитаризм переживает новый подъем после победы многострадального народа в великой войне. Уже приняты трагически известные постановления партии по литературе и искусству, не за горами «дело врачей», коммунистическая идеология все определеннее приобретает национальную окраску. Литературно-художественный журнал не может оставаться в стороне от общего идеологического марша. В апреле 1952-го года главный редактор «Нового мира» А. Т. Твардовский публикует статью известного критика Б. Рюрикова «О некоторых вопросах социалистического реализма». Заметим: Б. С. Рюриков — сотрудник аппарата ЦК КПСС, один из крупнейших официальных литературных критиков хрущевской «оттепели», удержавшийся на плаву и позже — в период «развитого социализма». В 1953—55 годах он возглавляет «Литературную газету», в 1963—69 — журнал «Иностранная литература». В Большой Советской Энциклопедии о Рюрикове с уважением говорится, что его выступления отличались «партийностью, полемической остротой, непримиримостью к буржуазной идеологии...». Впрочем, в этом мы убедимся сами. Важно, что весной 1952-го Твардовский не просто печатал очередную статью о современной литературе — он предоставлял трибуну известному

партийному публицисту, чье слово, как известно, имело для литераторов силу закона.

Выбирая название, автор (или редактор) поскромничал: этот фундаментальный труд — почти сорок страниц мелким шрифтом — написан с размахом, исследователь явно пытается ничего не упустить. Речь идет и о проблематике художественных произведений, и об авторской позиции, и о героях, и о формальных поисках, и о языке. Рассуждения, разумеется, то и дело оборачиваются поучениями: партийный литературовед от имени марксизма-ленинизма-сталинизма наставляет и писателей, и читателей.

Первое, что обращает на себя внимание при изучении текста Б. Рюрика, — это пренебрежение нормами стилистики, а в некоторых случаях и грамматики: «...П. Трофимов *выдвигает оговорку* о различии между самими законами и тем, как используются эти законы...» (с. 225); «она ставит своей задачей отобразить решающие, *коренные стороны* действительности...» (с. 227); «сама социалистическая действительность включает в себя фактор сознательности, устремленности вперед, *мечты и воплощения этой мечты*» (с. 229); «...в новых условиях оно стало лишь *тормозить серьезный размах* художественного творчества» (с. 230); «...*ложен путь замыкания в эфире отвлеченности...*» (с. 238); «именно в этом *принципе подхода к новому содержится* теоретический принцип огромного значения» (с. 226); «и если *нападать на* громкую эффектную фразу, *педалирование* и нажим...» (с. 242); «создается впечатление, что признание метода Чехова заставляет критика *отводить метод* Гоголя и Шекспира» (с. 243) (Выделено везде мною. — *Евг. Б.*). Не будем задаваться вопросом, чья именно безграмотность так щедро вылилась на страницы «Нового мира». Какая разница, был ли сам политически подкованный критик не в ладах с русским языком (со старозом!) или на его творении отразилась не слишком добросовестная редакторская правка. Так или иначе, каждый из «соучастников» поставил свою подпись под речевым произведением, начиненным огромным количеством несуразностей. Интересно, искренне не знал критик о стилистической окраске глагола *отвести* в значении «отвергнуть», о том, что это слово уместно лишь в официальной речи, — или просто высокомерно «отвел» стилистическую норму? Персонаж оруэлловского романа мог поступить так вполне сознательно, исходя из «принципа покорения действительности». Но, думаю, в нашем случае все значительно проще. Ведь не из идеологических же соображений большинство сегодняшних народных депутатов не склоняет числительные! Соблюдать стилистические и грамматические правила трудно, утомительно, это, в конце концов, требует знаний.

Те предложения с ошибками, которые я уже процитировала, можно условно зачислить в разряд безграмотно-несмешных. Однако

текст Б. Рюрикова богат и промахами другого рода. Автор по-своему доверяет читателю, то есть не ждет от него наблюдательности и остроумия, достаточных, чтобы оценить такие, к примеру, выражения: «Советская общественность критикует все и всяческие извращения в литературной критике *во имя укрепления литературы социалистического реализма...*» (с. 232); «Листопад *не завоевывает уважения силой, глубиной и ясностью мысли...*» (с. 240); «достаточно вспомнить... себялюбца Лозневого из романа «Белая береза», *ставшего предателем, чтобы отчетливее представить действенную силу нашей литературы в разоблачении сил старого мира*» (с. 251).

Эти небрежно составленные фразы, безусловно, рассчитаны на быстрое, невнимательное чтение, при котором на сознание преимущественно воздействуют несколько ключевых слов в словосочетании, десемантизированных и превращенных в эмоциональные знаки. «Советская общественность», «литература социалистического реализма», «действенная сила» — речевые штампы с мощной позитивной оценочностью, «все и всяческие извращения», «себялюбец», а особенно «силы старого мира» коннотированы негативно. Читатель не получал реальной информации, но подвергался сильному эмоционально-пропагандистскому воздействию. Это явление подробно проанализировано в вышедшей в Нью-Йорке книге А. и Т. Фесенко «Русский язык при советах». Ее авторы пишут: «Жизнь, сведенная, согласно марксистско-ленинской доктрине, к борьбе классов, партийной бдительности и трудовому энтузиазму масс, привела к тому, что литературный и разговорный язык был также сведен к унылому перечню или набору стандартных словосочетаний, замкнувших политический горизонт и серый быт советского гражданина. Этот гражданин, иногда малограмотный, не всегда разбирающийся в подлинном смысле исконных слов родного языка, должен был оперировать множеством непонятных ему слов политической терминологии, созданной не потребностями его личного „я“, а государственными формами, заранее заготовленными большевистской кликой» (Фесенко А., Фесенко Т. Русский язык при советах. Нью-Йорк. 1955. С. 27).

Вызывающе антинормативная стилистика подспудно насаждала в сознании рядового читателя идею вседозволенности в обращении с языком, стимулируя дальнейшее падение культурного уровня говорящих и пишущих по-русски. Наконец, полная речевая небрежность при строжайшей идейной выдержанности укрепляла тех, кто воспринимал журнальный текст с убежденностью: верность коммунистической теории, политическая «подкованность» — превыше всего, в том числе и здравого смысла.

Советский язык не боится не только двусмысленности, но и туманности, расплывчатости содержания. Можно констатировать, что в российской действительности возникло нечто подобное зеркально-

му отражению одной из фантазий Дж. Оруэлла. По мысли писателя, в новоязе многие слова намеренно лишались части значений. Так, прилагательное *свободный* сохраняло только значение «незанятый», а прилагательное *равный* — значение «физически равный». Что же касается советского варианта русского языка, в нем уничтожение смысла чаще достигалось при помощи безграничного расширения семантики слова.

Статья Рюрикова полна выражений, которые вряд ли могут быть логически интерпретированы. Они вообще не рассчитаны на понимание, лишены (или почти лишены) рационального содержания, зато обладают яркой оценочностью. Вместо логической интерпретации текста от читателя требовалось горячее сопереживание: он не должен был вникать в смысл высказывания, ему следовало вместе с автором принимать или отвергать те или иные явления. Называющие и характеризующие эти явления полнозначные по своей природе слова выполняют в статье функцию междометий — их роль сводится к передаче эмоций: «этот труд помог *шире и глубже взглянуть* на явления общественной жизни...» (с. 222); «изучение жизни, изучение и осмысление конкретных явлений помогает выработать тот *высокий* и мудрый *взгляд* на явления действительности, который присущ искусству социалистического реализма» (с. 227); «...тем *выше* мы должны *поднимать* знамя *большевистской идейности* в творчестве...» (с. 229); «это постановление знаменовало наступление нового этапа развития советской литературы, *подъема ее на новую высоту*» (с. 230); «герой *ведет людей все дальше и дальше...*» (с. 237); «...благородная роль труда, помогающего человеку *подниматься все выше и выше, идти вперед и вперед...*» (с. 246).

Наблюдается и частое повторение нескольких слов-заклинаний. На первом месте по числу словоупотреблений — существительное «борьба», использованное в тексте более 80 раз. Глагол «бороться» встречается значительно реже, что естественно для канцелярита, которым несомненно заражен советский язык. Как известно, глагольная недостаточность вызывается тягой автора к солидности, внушительности, его стремлением подчинить себе волю читателя. Стилистическая тяжеловесность порождает в людях тревожность, неверие в собственный интеллект, делает их зависимыми от чужого мнения.

Многократное использование слова «борьба» и других слов милитаристского характера соответствует марксистской теории истории, движимой классово-борьбой; военно-политической доктрине большевиков, которые усиленно создавали образ страны — осажденной крепости; советскому пафосу непримиримой войны нового со старым. Не случайно наплыв лексики военного происхождения («борьба», «бороться», «армия» и т. д.) в обыденную речь отмечался А. М. Селищевым в качестве одной из существенных особенностей

языка революционной эпохи (Селищев А. М. Язык революционной эпохи. М. 1928. С. 85—96). В статье Рюрикова термин «борьба» поэтизируется, соответствующее явление прославляется, в то время как конкретное смысловое наполнение существительного часто остается смутным: контекст не позволяет понять, о какой именно борьбе идет речь: «Участие искусства в борьбе миллионов масс наполняет его великим жизненным содержанием» (с. 223); «эстетика социалистического реализма... руководство в борьбе» (с. 227); «существование организаций, разъединявших писателей, толкавших их на путь групповой борьбы, отделявших их от жизни, работы и борьбы советских людей, было пагубно для дальнейшего развития литературы» (с. 230). В последнем фрагменте особенно интересно противопоставление отрицательно окрашенного словосочетания «групповая борьба», обозначающего конкретное явление, и «положительного» словосочетания «борьба советских людей». Стилистика статьи приучает читателя к идее самоценности борьбы независимо от ее целей и средств.

Кроме существительного *борьба* Рюриков широко использует лексические единицы, ассоциативно с ним связанные: *непримиримый, искоренение, устранение, враждебный, беспощадный, враг, столкновение, уничтожение, противостоять, драться*, а также слова и словосочетания, составляющие ассоциативное окружение существительного *война*: *громить, вооружать, боевой, оружие, победоносный, воевать, направлять стрелы, атака, отбиваться, обороняться, победа, поражение, разгром врага, воин, боец*. Эти слова и выражения используются метафорически, в соответствии со своими языковыми возможностями, но насыщенность речи лексикой милитаристского характера настолько велика, что контекст утрачивает способность поддерживать смысловую двуплановость, необходимую для существования образа. Активизируются прямые значения слов, текст начинает восприниматься как описание реальных военных действий. Читатель ощущает себя свидетелем или участником непрекращающегося сражения. Следовательно, у него не возникает внутреннего протеста против закона военного времени: он учится принимать как должное нетерпимость и беспощадность. Не случайно Рюриков допускает выражение «*замечательный процесс уничтожения* существенных различий между умственным и физическим трудом» (с. 243).

Приходится констатировать, что, в отличие от вымышленного новояза Дж. Оруэлла, советский русский язык не проявлял тяготения к простоте и ясности. По мнению английского писателя, население тоталитарного государства должно было оказаться в плену у соблазна абсолютной доходчивости лозунгов, кристальной ясности формулировок. В российской действительности этот эффект, несомненно, проявлялся в некоторых случаях (такова стилистика плака-

тов, газетных заголовков и т. д.). Но нельзя преуменьшать и значение другого, обратного, процесса — затемнения смысла. Непонятный, намеренно усложненный текст, в котором мелькают знакомые, хотя тоже не поддающиеся точной логической интерпретации слова и выражения, — действенное средство подавления личной воли, творческой мысли читателя.

В отличие от описанного Оруэллом новояза, советский русский язык нелогичен, противоречив, парадоксален. Мрачное наукообразие (воплощающееся, например, в многократном повторении Рюриковым глагола «являться») соседствует с митинговым пафосом, сухая дидактика — с полемическим задором. Это язык, на котором невозможно передать полутона и мягкие, неоднозначные оценки. На нем не хвалят, а восхваляют, не критикуют, а громят. Говоря о классиках марксизма, деятелях партии, обо всем, что соответствует коммунистической идее, Рюриков использует экспрессивные прилагательные: «влияние... советского общества дает социалистическому искусству *невиданную* силу»; «участие искусства в борьбе миллионов масс наполняет его *великим* жизненным содержанием...»; «наше искусство — *могучее* орудие в борьбе за коммунизм, *великое* средство коммунистического воспитания...»; «в этой сталинской формуле с *предельной* четкостью выражена и новаторская сущность искусства...» (с. 223); «наша эстетическая теория призвана играть *огромную* роль...» (с. 224); «советская эстетика, имеющая все возможности для *глубочайшего* анализа...» (с. 228); «*могучее* движение нашего *титанического* времени» (с. 229); «люди нашего *неповторимо прекрасного* общества» (с. 231) и т. д.

Перед нами образец насыщенного слога, о котором писал П. Лафарг, изучавший языковую ситуацию времен Великой французской революции. По мнению исследователя, такая стилистика стала результатом слияния революционного пафоса и дурного вкуса (Лафарг П. Язык и революция. М.— Л. 1930. С. 91).

Экспрессивные лексические средства позволяют Рюрикову передать ненависть к политическим противникам и презрение к тем, кто чего-либо «недопонимает» в марксизме или практике социалистического строительства. Этой цели служит отрицательно окрашенная лексика; «разоблачение *лживых реакционных* взглядов» (с. 222); «в капиталистических странах пропагандируются *каннибальские, челодеконенавистнические* взгляды на искусство. Искусство становится средством пропаганды *гангстеризма*, расовых теорий, «аристократизма», всякого рода *мракобесных* взглядов»; «господствующие классы поддерживают все *гнилое, реакционное* в искусстве, поддерживают военную *истерию* и стремятся противодействовать борьбе прогрессивных сил искусства за очищение, за спасение его от разложения и *маразма*» (с. 223) и т. д.

Из всех способов коммуникативного воздействия Рюриков

выбирает внушение, рассчитанное на примитивное, неразвитое сознание, для которого привычна и удобна черно-белая картина действительности. Советский язык идеально подходил человеку, не привыкшему думать, и сам отучал думать. Он поддерживал в своем носителе убеждение, что в мире нет спорных и нерешенных вопросов, абсолютно все подвластно марксистской теории и коммунистической практике.

В соответствии с этой установкой в советском языке гораздо более заметную роль, нежели в традиционном русском, играли «семантические примитивы» типа «все» и «всякий». С их участием конструировались так называемые «генерализованные высказывания», «закрывающие в себе некоторые общие правила, житейские обобщения-формулы и умозаключения „на случай“...» (Караулов Ю. Н. Словарь «Пушкин и эволюция русской языковой способности». М., 1992. С. 115). Высказывания этого типа не могут не быть распространены в языке людей, убежденных, что марксизм раз и навсегда установил истину во всех сферах бытия. Поэтому и для текста Рюрикова характерны такие формулировки: «искусство социалистического реализма — это вдохновляющий пример для *всех* прогрессивных элементов искусства в странах капитала...» (с. 223); «сейчас *всем* ясно, что социалистический реализм есть... единый творческий метод...» (с. 228); «с какой силой звучат эти слова в нашей стране, народ которой стал ведущей силой *всего* человечества!» (с. 238) и т. д.

Наиболее характерны подобные словосочетания с существительным «народ»: *весь народ, весь советский народ, дело всего народа, единство всего народа, интересы всего народа*. Они оказывали воздействие на языковое сознание говорящих и пишущих по-русски, во-первых, активизируя в слове *народ* значение монолитности и, во-вторых, приучая людей оперировать абстракциями и не соотносить мировоззренческие постулаты с конкретными жизненными реалиями.

Тем же целям служат местоимения «ничто», «любой», «каждый» и частица «только»: «...и базис, и надстройка развиваются по законам диалектики, не признающей *ничего* застывшего...» (с. 224); «закон истинен *только* тогда, когда он отражает существенные, необходимые стороны явлений. При понимании же... закона как отвлечения от реального существа действительности можно создать *только* бессодержательные абстракции. *Только* правильно понята связь искусства с общественным развитием... дает ему жизненную силу» (с. 225—226) и т. д. Описанное свойство советского языка я назвала бы функцией абсолютизации, направленной на укрепление в сознании людей своеобразного «социалистического максимализма».

Иногда лексических средств русского языка оказывалось недостаточно, и партийные идеологи занимались словотворчеством. В этом плане наблюдается совпадение реальных исторических фактов

и художественной догадки Дж. Оруэлла, в чьем произведении упоминается «Словарь В», искусственно созданный партией для обслуживания политических нужд. Разумеется, в российской действительности процесс пополнения лексики был гораздо менее организованным, чем в антиутопии английского писателя. Чаще всего новые слова возникали стихийно, поскольку неуважительное отношение к языку развязывало руки любителям придумывать термины «на случай». Особенно увлекается Рюриков конструированием сложных прилагательных, в отличие от вымышленных идеологов Оруэлла, не заботясь о благозвучии. Он употребляет громоздкие новообразования *абстрактно-индивидуалистический, абстрактно-психологический, буржуазно-индивидуалистический, буржуазно-идеалистический, буржуазно-эстетский, эстетско-идеалистический, общественно-преобразующий, семейно-сентиментальный, старо-интеллигентский*. Фактически все неологизмы, использованные в статье 1952 г., обладают определенной и яркой оценочностью, что и требуется для советского аналога «Словаря В».

Подводя итоги, можно констатировать, что Дж. Оруэлл в романе «1984» во многом точно описал языковые тенденции тоталитарного общества. Та же или сходная модель тоталитарного языка предложена в исследовании Г. Ч. Гусейнова, по мнению которого советский язык был, как и новояз, намеренно создан идеологами партии для достижения определенных политических целей.

В действительности же советский вариант русского языка стал, как я полагаю, естественным порождением эпохи хаоса и торжествующего бескультурия. Отменить его, как и искусственно насадить, невозможно.

Процесс освобождения сознания современного российского общества от разрушительного влияния языковых советизмов началась. Сколько он займет времени — покажет будущее. А как он идет — это уже другая тема.

«У НАС» — ЭТО ГДЕ?

М. Э. ХАЙТОВА

Казалось бы, определение значения предложно-падежной формы *у нас* не вызывает трудностей, однако на самом деле местоимение *у нас* может называть самые разные места, а также человека. Особенно много разного рода значений *у нас* может иметь в бытийных предложениях. Бытийные предложения — это предложения о бытии (наличии) чего-то в определенных местах, у определенного человека и т. п.

Давно замечено, что бытийные предложения являются отличительной чертой русского языка. Русские используют их гораздо чаще, чем немцы, англичане, французы и другие народы в своих языках. Если немец скажет: «Ich habe einen Bruder», что дословно — «Я имею брата», то русский скажет: «У меня есть брат». Не случайна поэтому регулярность в русской речи бытийных предложений с личным местоимением в форме *у нас*, которая позволяет этому местоимению употребляться для обозначения очень разных реалий, это связано с тем, во что включается личность, названная местоимением, с чем она ассоциируется. Определить значение *у нас* — значит определить те контексты, в которых оно употребляется. Особенно многообразны такие контексты в публицистике.

Основными компонентами бытийных предложений являются: область бытия — бытийный глагол — имя бытующего предмета. Так, в предложении «В стране есть атомные электростанции» *в стране* — область бытия, или, как мы будем называть ниже, локализатор, *есть* — бытийный глагол, *станции* — имя бытующего предмета.

В бытийных предложениях *у нас* очень часто обозначает «в стране, в нашей стране»: «Правда, есть у нас новые суды, которые никаким законом вообще не предусмотрены» (Новый мир. 1982. № 1); «У нас нет сейчас парламента» (Известия. 1993. 17 ноября); «Сегодня у нас совсем немного писателей, по-настоящему работающих над жизнеописаниями людей науки» (Новый мир. 1983. № 10).

Значение *у нас* выявляется из контекста: имя бытующего предмета обозначает такие понятия, которые не могут быть прямо отнесены к человеку. Сравните: «Итак, у нас многопартийность» — ведь нельзя сказать: «Итак, у меня многопартийность».

Часто в таких предложениях при локализаторе *у нас* употребляется второй локализатор с конкретизирующим значением: «Дескать,

есть у нас в России интереснейший ученый...» (Новый мир. 1982. № 10); «У нас в стране пока нет судебной власти — но не ее одной» (Новый мир. 1992. № 1); «Все же у нас в стране всегда существовали другие нравственные ориентиры, существовала скрытая под покровом лжи нравственная жизнь народа...» (Нева. 1991. № 5).

В период холодной войны, когда существовала конфронтация Советского Союза с империалистическими государствами, в газетах усиленно велось противопоставление стран, которое было основано на различии политических систем, что часто выражалось конструкциями *у нас* — *у них*. Теперь же, несмотря на то, что характер отношений между странами изменился, нередко можно встретить сопоставления «у нас» — «у них», которые часто основаны на различии в уровне экономического и социального развития: «Предвижу оправдания — вот, мол, на Западе... Так это там. „У них“ есть президент с саксофоном и национальная президентская кошка. Есть этакий картонный раскрашенный мирок — бытоописание семейных политических кругов. А у нас... У нас есть три лица — власть, народ и телевидение» (Независимая газета. 1994. 24 сент.); «Нет у нас законов, борющихся с монополией, нет законов, ограничивающих прибыль. А на Западе они есть и являются атрибутом цивилизованного рынка» (Российская газета. 1991. 31 авг.).

У нас также может обозначать:

а) различные географические пространства: «У нас (в Киргизии) есть горы»;

б) административно-территориальные единицы (города, области, районы и другие населенные пункты): «Кроме АЭС с десятками тысяч работников, разветвленной инфраструктурой, у нас (в Арзамасе-16) полно и других „штучек“ с атомной начинкой: и подводных лодок, и ледоколов, и исследовательских установок, не говоря уже об оружии» (Независимая газета. 1992. 23 янв.); «У нас (в Орловской области) есть фермы не хуже голландских, с гордостью говорили мне орловские чиновники» (Комс. правда. 1994. 31 марта);

в) различные предприятия, организации, заведения, которые являются объектом профессиональной, учебной деятельности человека: «У нас (на электростанции) было два массовых набора специалистов: в начале 60-х и в начале 70-х годов» (Независимая газета. 1992. 30 июня); «Есть у нас (на заводе), да не только у нас, хозяйственные проблемы, которые обсуждаются годами...» (Правда. 1970. 6 янв.); «У нас (в институте) происходят странные события».

В предложениях, где область бытия обозначает место работы, учебы, в качестве локализатора может выступать *у меня*. В таких предложениях «я» обозначает руководителя и *у меня* обозначает «на предприятии и под., которое я возглавляю»: «У меня работает 200 человек»; «У меня в отделе проблема с компьютером». Однако возможны конструкции с *у меня*, где говорящий является рядовым

сотрудником, рабочим: «У меня на работе есть компьютер». Здесь не обязательна принадлежность компьютера говорящему, и данное предложение эквивалентно предложению: «В нашем отделе есть компьютер».

У нас может обозначать жилище: «У нас в доме была гитара» (Комс. правда. 1980. 3 янв.); «У нас в квартире живут две собаки». Интересно, что, если человек живет один, то он говорит у меня: «У меня в доме есть камин».

Следует отметить, что говоря у нас, автор выражает свою отнесенность к тому или иному пространству. Интересно употребление у нас в значении «родина». Очень тонко подмечен А. И. Солженицыным механизм взаимоотношения человека с местом, где он живет, с местом, которое воспринимается, как родное, в романе «Раковый корпус»: «И сейчас, начав выздоравливать, и стоя опять перед неразбираемо-запутанной жизнью, Олег ощущал приятность, что есть такое блаженное местечко Уш-Терек, где за него подумано, где все ясно, где его считают как бы вполне гражданином, и куда он вернется скоро как д о м о й. Уже какие-то нити родства тянули его туда и хотелось говорить: у н а с» (Новый мир. 1990. № 1. С. 37. Разрядка Солженицына).

В бытийных предложениях у нас употребляется также в значении совокупности людей. Обычно у нас обозначает такую общность, как народ в значении «население, жители той или иной страны, государства: «В апреле 1985 года у нас появился шанс на спасение» (Новый мир. 1988. № 5); «Не может быть у нас теперь мысли о человеке, нет ее» (Лит. газета. 1993. 31 марта); «Вряд ли у нас сейчас есть хоть какие-то основания предугадать, как человечество выйдет из кризиса» (Новый мир. 1989. № 7). Поэтому употребление у нас в значении коллектива, объединенного по другим признакам, например, по профессиональному, обычно имеет при себе уточнители: «У нас — у моих сотрудников и у меня — своих средств нет, но есть огромное желание помогать талантливым детям» (Известия. 1993. 4 сент.); «Пусть молодость знает, что у нас, ветеранов, был один лишь дом — колхоз, один долг — служение народу» (Правда. 1970. 2 апр.).

У нас может выступать и без конкретизатора: «У нас, к сожалению, немало фактов об утрате в храмах церковных произведений...» (Независимая газета. 1992. 18 апр.). Здесь у нас — у искусствоведов.

У нас может обозначать «среди нас», в таких предложениях имя бытующего предмета называет лица, которые выделяются из совокупности людей по какому-либо признаку: «Значит ли это, что у нас нет инициаторов, искателей, фантазеров и смельчаков, людей, способных работать, не считаясь со временем, готовых любой ценой добиваться успеха правого дела» (Октябрь. 1989. № 1); «Особенно

прагматична молодежь. Это подтверждают разного рода анкеты. У нас уже есть школьники, не просто мечтающие о том, чтобы стать миллиардерами, но твердо намеренные ими стать» (Лит. газета. 1992. 18 марта).

Часто в бытийных предложениях с локализатором у нас дается характеристика совокупности людей, в частности, общества: «Зачем загадки, зачем вообще смятение души, если у нас будет прекрасная сытая улыбка, открывающая здоровые, красивые зубы?» (Лит. газета. 1993. 31 марта). В данном случае сообщается не о конкретном выражении на лицах целой совокупности людей, а характеризуется определенный тип людей, обладающих определенным внутренним миром.

Наиболее употребительны конструкции, где общество характеризуется «изнутри» с точки зрения наличия/отсутствия в нем каких-либо психологических особенностей: «Но главные симптомы самоощущения у нас уже налицо: мы тоже боимся идей, хватит с нас, хватит!» (Лит. газета. 1993. 31 марта); «У нас теперь иные, чем прежде, представления о качестве жилища, о комфорте на производстве, иные требования к уровню сферы обслуживания, иные этические представления» (Новый мир. 1980. № 10).

У нас помимо обозначения совокупности лиц может обозначать конкретное лицо и быть синонимичным у меня, например, при употреблении автором *мы* вместо *я* (так называемое «авторское *мы*»): «У нас нет здесь (в статье) возможности отдать должное этой фундаментальной работе» (Октябрь. 1991. № 8).

В разговорной речи употребляется у нас вместо у меня также в случае, когда говорится о состоянии человека, и автор подчеркивает родственную близость, неотделимость или сочувствие, как, например, в ситуации, когда мать говорит о ребенке: «У нас температура (жар)». Подобным образом может констатировать температуру врач.

Таким образом, спектр значений местоименной предложно-падежной формы у нас в публицистике чрезвычайно широк и своеобразен. В других сферах общения эта предложно-падежная форма может иметь особый круг значений, например, при обыденном общении у нас — это определенный микроколлектив: семья (ср. У нас родился мальчик), рабочий коллектив (у нас новый начальник) и т. п. Но это уже тема для особого разговора.

НОВЫЕ СЛОВА... «АДВЕРТАЙЗИНГА»*

С. В. ПОДЧАСОВА

Тур. Лаконичное заимствование, как нельзя лучше соответствующее почти стенографическому стилю рекламных объявлений, является одним из характерных слов тематической группы «Туризм и спорт». Предпочтение, отданное ему перед близкими по смыслу словами (*путешествие, поездка, вояж* и мн. др.), объясняется не только краткостью, но и емкостью его семантики. В английском языке — источнике подавляющего большинства новых заимствований данной группы — основное значение слова *tour* довольно широко: «путешествие, поездка, турне; экскурсия, прогулка»; в свою очередь, смысл каждого из перечисленных слов включает значение «движение с возвратом в исходную позицию». Заметим, что французское слово *tour* имеет разветвленную смысловую структуру (порядка 30 значений), в которой значение «прогулка, поездка» занимает одно из второстепенных мест.

Именно столь широкий смысл слова *тур* в языке-источнике, по-видимому, больше всего устраивает газетчиков. Тем более, что в случае необходимости значение слова всегда можно уточнить. Например, с помощью прилагательных, использованных в качестве согласованных определений: «Международная туристская компания „Москва“ предлагает... *познавательные туры* в Англию» (Веч. Москва. 1994. 2 марта); «Возможны *индивидуальные туры*...» (Престиж-клуб. 1994. 3—10 марта); «*Детские туры*, изучение языка» (там же); «Фирма организует *эксотические туры*» (Центр. 1994. № 7); «А/О Созвездие „Центр“ приглашает: Польша — *экскурсионные туры*» (Дел. Москва сегодня. 1994. № 9). Или же с помощью иных уточнительных конструкций, выступающих в роли несогласованных определений: «Фирма организует *туры по спецзаказам*» (Центр. 1994. № 8); «Польша — *туры за автомобилями*», «Тунис, Испания, Кипр — *туры на отдых*» (Дел. Москва сегодня. 1994. № 9).

Но наиболее предпочтительным способом конкретизации смысла стало использование сложителных слов с компонентом *тур*, многие из которых являются неологизмами: «Предлагаем: *шоп-туры* в Турцию, *бизнес-туры* в США, *автотуры* в Финляндию и Германию» (Престиж-клуб. 1994. 3—10 марта); «Компания Бошт пред-

* Продолжение. Начало см.: Русская речь. 1995. № 2, 3.

лагает... *сити-тур* по побережью» (там же); «Фирма „Искра“ предлагает регулярные *авиатуры*» (там же). Наконец, приведем еще более сложное новообразование (с тремя корнями): «*Авиашоптуры* в Стамбул» (Торг. Москва. 1994. № 3).

Приведенные тексты демонстрируют широкую сочетаемость слова *тур*. Но при вхождении нового слова в систему русского языка важно не только установление контактов с другими словами, но и четкое определение взаимоотношений со словами, обладающими идентичной «внешностью» — то есть с омонимами. В современном русском языке слово *тур* имеет омонимичные значения, реализующиеся в следующих, например, контекстах: «Один тур переговоров», «Заключительный тур шахматного турнира», «Тур вальса», а также «Тур — горный кавказский козел».

Фитнесс — недавно заимствованный англицизм, функционирующий в русском языке пока в качестве вкрапления, т. е. неосвоенного иноязычного слова. Буквальное значение английского *fitness* — «пригодность, соответствие». Получить некоторую информацию о значении слова в нашей речи можно из рекламной публикации журнала «Домовой» (1994, март): «Джин Миллер — наиболее узнаваемое имя в современной индустрии *фитнесс*... STEP REEBOK ультрасовременная *фитнесс* программа, созданная для людей различных возрастов и уровней спортивной подготовки и тонизирующая движения для верхней части тела». Таким образом, под новым словом *фитнесс* подразумеваются коммерческие воплощения идеи физического совершенства. В данном случае «гармония» достигается с помощью универсальной спортивной обуви REEBOK. Согласно рекламным данным, такая обувь идеально пригодна для занятий физической культурой и спортом и может превосходно соответствовать физическим особенностям едва ли не каждого покупателя.

Чартер, чартерный, авиа-чартер. Мы фиксируем переход из узкоспециальной сферы в язык средств массовой информации термина *чартер* (от англ. *charter*), а также отмечаем, что этот переход сопровождался важными изменениями семантики слова. Обратившись к словарям, мы получим о нем следующую информацию: «Чартер — морской договор между судовладельцем и фрахтователем (нанимателем) на аренду всего судна или его части на определенный рейс или срок; относится также и к аренде воздушных судов» (Современный словарь иностранных слов. М., 1992).

В Энциклопедическом словаре бизнесмена (Киев, 1993) помимо приведенной информации содержится указание на цель чартера. Такой договор заключается «для перевозки грузов на определенный рейс или срок. Имеются стандартные формы чартера, разработанные для применения в перевозках определенных видов грузов».

Обратимся теперь к нашей периодике: «Звоните в „Экипаж“: *чартер* и продажа яхт» (Домовой. 1994. Март). В данном случае

чартер обозначает не «морской договор», а «сдачу напрокат по чартеру, морскому договору». То есть заимствованием *чартер* фактически воспринято еще одно значение этимона, зафиксированное, например Англо-русским словарем по экономике и финансам (СПб., 1993). Но семантические движения в слове *чартер* на этом не закончились. Приведем такие примеры: «На глазах расцвел аэропорт г. Тяньцзиня — именно сюда стали приземляться пассажирские и грузовые *чартеры*: до 8—10 рейсов в день из стран СНГ» (Аргументы и факты. 1994. № 28); «Авиачартер в Стамбул...» (Веч. Москва. 1993. 10 нояб.). Слова *чартер* и *авиачартер* (договор о перевозке воздушным транспортом) явно не имеют в этих примерах значения «договор» или «документ о заключении договора», или же «процесс сдачи внаем по договору». Сравним теперь приведенные выше отрывки со следующими выдержками из газет: «Наконец, с весны 1994 года, ломая отрегулированную систему *чартерных перевозок*, «челноков» решили посадить в более дорогие рейсовые самолеты» (Аргументы и факты. 1994. № 28); «Пермавиа — международные *чартерные авиаперевозки грузов*» (Веч. Москва. 1992. 7 апр.).

Исходя из всех этих сообщений, можно заключить, что произошло стяжение словосочетаний *чартерные перевозки* и *чартерные авиаперевозки* в лексемы *чартер* и *авиачартер*, а также усложнение семантики последних.

Наконец, приведем пример, вполне оправдывающий помещение слова *чартер* в тематическую группу «Туризм и спорт»: «Учитывая коммерческую ориентацию российского *чартерного туризма*, наша авиакомпания предоставляет пассажирам возможность за дополнительную плату перевозить сверхнормативный багаж» (Дел. Москва сегодня. 1994, № 9).

Действительно, туризм всегда был отраслью, приносящей кому-то доходы. Но если до недавнего времени в нашем сознании это был преимущественно бизнес организаторов турпоездок, то сегодня коммерческие цели стали основными для большей части покупателей туров. Отсюда — появление наименования *чартерный туризм* (наряду с неологизмами *бизнес-тур*, *шоп-тур* и др.).

Шейпинг, шейпинг-модель. Заимствование *шейпинг* произошло от английского *shaping*, буквальное значение которого «придание формы»: «А лучше все же заняться „шейпингом“ — помесью культуризма и аэробики — и уже с его помощью добиться желаемого результата» (Веч. Москва. 1992. 2 апр.). Согласно толкованию, приведенному в Современном словаре иностранных слов, *шейпинг* — «система совершенствования, корректировки женской фигуры физическими упражнениями, диетой, массажем и т. д.». Сделавшись модным и широко известным, новое слово стало одним из атрибутов при описании «красивой жизни».

В номере «Комсомольской правды» (1992. 7 янв.) нами обнаруже-

но также составное наименование с компонентом *шейпинг*: «Вам периодически высылаются информация: отличие параметров Вашей фигуры от Вашей *шейпинг-модели*».

Шоп, шопинг. Появившись в конце 80-х — начале 90-х годов на страницах периодической печати, заимствованное слово *шоп* нередко использовалось в целях негативной характеристики: «Развелось у нас валютных магазинов. Так кому нужны эти „шопы“, кроме как иностранцам и фирмам?» (Аргументы и факты. 1992. № 21). Но, перекочевав на рекламные полосы, слово *шоп* приобрело совершенно иную стилистическую окраску, и с этих пор благодаря своему экзотичному облику и краткости оно успешно служит нашему «адвертайзингу».

В значении «магазин», основном значении английского этимона *shop*, слово чаще употребляется в составе сложных слов, обычно в качестве второго компонента: «У Вас уникальная возможность приобрести элегантную импортную дамскую обувь в знаменитом „Барби-шопе“ на пр-кте Мира» (Веч. Москва. 1992. 30 июня). Однако довольно быстро у нового слова появилось еще одно значение: «Агентство предлагает дешевый *шоп* и отдых» (Центр. 1994. № 7). Здесь заимствование *шоп* обозначает «делать покупки» (значение английского *to shop*). Усложнение таким образом семантической структуры слова создает в ряде случаев определенные трудности при истолковании смысла рекламной публикации. Например: «Отдых в Паланге, Ниде. *Авто-шоп*» (Дел. Москва сегодня. 1994. № 9). Не сразу можно догадаться, что *авто-шоп* — это «поездки по магазинам на автомобиле», а не «магазин для автомобилей».

С тех пор как слово *шоп* стало обозначать «совершение покупок», «поход по магазинам с целью покупки», оно вступило в конкуренцию с другим заимствованием — *шопинг* (от англ. *shopping*), употребляющимся практически в тех же значениях: «Тур-агентство предлагает великолепный отдых и *шопинг*» (Известия. 1994. 12 янв.).

Если важное преимущество слова *шоп* — краткость, то сильная сторона конкурента — *шопинг* — однозначность.

Продолжение следует

Родной язык

РУССКИЙ ЯЗЫК У НЕРУССКИХ

О региональном варьировании неисконной русской речи

Э. А. ГРИГОРЯН,

кандидат филологических наук

Русский язык, подобно немногим другим языкам (английскому, испанскому, китайскому, немецкому, французскому), перешагнул границы своего этноса и получил стабильное функционирование среди других наций и народностей. Социальной базой такого функционирования долгое время было существование СССР как единого государства, но и после его распада русский язык не перестал использоваться людьми разных национальностей.

Во-первых, Россия, являющаяся многонациональной страной, приняла закон, согласно которому русский язык получил статус государственного языка. Реальное положение дел, наконец, перестало расходиться с законодательным статусом языка (в СССР, как известно, государственным языком не было, хотя русский язык фактически выполнял функции государственного в полном объеме).

Во-вторых, многие представители других народов и народностей (особенной малых) своих национальных языков не знают и даже считают русский своим родным языком.

Наконец, русским языком владеют в разной степени миллионы людей, которые в той или иной мере двуязычны, т. е. те, которых в специальной лингвистической литературе называют билингвами. Это результат и продукт национально-русского двуязычия. С распадом СССР первое время не только политикам, но и многим ученым-филологам показалось, что национально-русское двуязычие обречено, что потребность в языке межнационального общения отпадет. Однако произошло не то чтобы прямо противоположное, но весьма примечательное видоизменение характера функционирования русского языка, которое никак нельзя признать затуханием его функций как языка-макропосредника.

Реинтеграционные процессы в СНГ набирают силу. Всем (и в том числе политикам) становится ясно, что окончательный распад общности практически невозможен. Это диктуется экономическими

потребностями. Но здесь встает проблема языкового барьера, а русский язык как средство межнационального общения уже давно зарекомендовал себя как испытанное средство его преодоления. Правда, «новое» функционирование русского языка в этом качестве лишено в большинстве государств СНГ законодательной базы, но это, как хорошо известно в социолингвистике, не является основной предпосылкой для прекращения использования языка в межнациональных контактах.

Таким образом, русский язык продолжает играть роль языка межнационального общения, по-прежнему функционируя не только в исконной этнической среде. Это привело к образованию неисконной русской речи, обладающей определенной степенью устойчивости и наличием ряда признаков, которые отличают эту речь от других речевых разновидностей русского языка.

Изменение характера функционирования русского языка как средства межнационального общения, по нашим наблюдениям, не остановило тех лингвистических процессов, которые обычно происходят с языками, так или иначе обслуживающими другие этносы. Универсальным процессом является варьирование языков и появление своеобразных «изводов» на почве воздействия других языковых систем и речевых стихий. Такое варьирование практически неизбежно и является одной из немногих бесспорных контактологических универсалий. Так происходило с английским языком в Северной Америке и Индии, с испанским языком в Латинской Америке, с португальским — в Бразилии, с французским — во франкофонных провинциях Канады (в свое время об этом писали Г. В. Степанов, В. Н. Ярцева, А. Д. Швейцер, А. И. Домашнев, Е. А. Реферовская, П. А. Баранников).

В соответствии с общей контактологической закономерностью такое варьирование свойственно и русскому языку. Этот факт лингвистам хорошо известен, хотя и недостаточно изучен. Проблема во всех случаях заключается не в том, чтобы оспаривать очевидную и реально существующую закономерность, а в том, чтобы правильно оценить и квалифицировать эту закономерность в соответствии с условиями функционирования и с учетом дальнейшей судьбы вариативного языкового состояния. Так, Г. В. Степанов последовательно оценивал испанский язык различных стран Латинской Америки как региональные разновидности, но при этом настаивал, что это не варианты языка, а именно испанский язык. Английская речь индийцев оценивается как вариант английского языка (национальный вариант). Язык американцев определяется также как вариант. Все эти оценки исходят прежде всего из того конкретного материала, который предоставляет сама речь, и возможны только после его скрупулезного изучения.

В русистике, к сожалению, положение несколько иное. Высказанное Н. М. Шанским и Т. А. Бобровой предположение о возможности

квалификации неисконной русской речи как национального варианта не было подкреплено серьезным анализом ее особенностей и поэтому многие его не приняли, а некоторые абсолютно несправедливо восприняли эту оценку как попытку узаконивания тех ошибок, которые неизбежно в этой речи содержатся, как некое поползновение на чистоту русского языка (Шанский Н. М., Боброва Т. А. Актуальные вопросы изучения русского языка как средства межнационального общения//Русский язык в армянской школе. 1980. № 3). В. В. Иванов и Н. Г. Михайловская писали о том, что единственно приемлемой формой русского языка как средства межнационального общения является русский литературный язык (Иванов В. В., Михайловская Н. Г. Русский язык как средство межнационального общения: актуальные аспекты и проблемы//Вопросы языкознания. 1982. № 6), но реальность отличается от этого тезиса.

Существовали и менее категоричные оценки неисконной русской речи, более осторожные: местный вариант, местный узус, функциональный стиль или разновидность.

Трудно объективно оценить все точки зрения, как как, по нашему глубокому убеждению, неисконная русская речь изучена недостаточно. В первую очередь это касается именно собственно языковых состояний, но русский язык как средство межнационального общения изучался исключительно с функциональной точки зрения и чаще в политическом контексте.

Прежде всего обратим внимание на то, что неисконная русская речь не так однородна, как это представляется в теории. Эта неоднородность, главным образом, касается того бесспорного факта, что она варьируется в зависимости от того, в каком этническом окружении функционирует. В художественной литературе, да и в бытовом языковом сознании это проявляется достаточно полно. Часто это явление именуют акцентом (вопреки принятому в лингвистике пониманию акцента как исключительно фонетическому явлению, имеющему отношение к ударению). Если отмечается акцент, то тут же указывают и национальность говорящего. «А он умен, — подумал Олег, — говорит с акцентом и интонация самая еврейская, но даже это не делает его смешным» (Головкина. Победенные). При этом часто при определении национальной окраски акцента могут быть различного рода определения: «Шметилло, — отрекомендовался он с мягким польским акцентом» (Степанов. Порт-Артур). Иногда акцент описывается более подробно: «В ее произношении звучал чуть заметный грузинский акцент. Это показалось ему чудесным, эти гортанные звуки, эти сильные интонации, но он не сдавался» (Горбатов. Алексей Гайдаш). Часто по акценту даже узнают национальность собеседника: «Акцент у него. Ах, он оказывается поляк, зовут его Юрий Венгерский» (Солженицын. Архипелаг ГУЛАГ).

Акцент очень хорошо знаком исконным носителям языка.

Практически каждый русский человек может скопировать тот или иной акцент. Рассказывает, допустим, человек о том, что он имел беседу с грузином. И тут же начинает передавать, как этот грузин с ним говорил. Он перестает редуцировать гласные, растягивает интонацию, добавляет мелодики, произносит твердо все мягкие согласные, а если при этом еще и скажет несколько кавказских слов, известных в какой-то мере русскому языку, то «модель» русской речи грузина состоялась. В русском языке есть специальные приемы передачи акцента в письменном тексте. Интересно, что они строго дифференцируются в соответствии с национальной принадлежностью, но при этом довольно устойчивы не только у разных авторов, но практически у всех носителей русского языка. Вот речь Бенингсена, немца по происхождению: «Так вы говорите, тшто он в свою опатшивальную комнату уходиль? И вы вашими глазами видели, тшто караул с конной гвардии сменильсь? И конногвардейский караул с дворца уходиль?» (Алданов. Мыслитель). Или: «На звон серебряного колокольчика, увитого драконами, в комнате появилась маленькая китаянка: «Японси, японси, война русски. Носю японси море воевал» (Степанов. Порт-Артур).

Моделирование неисконной русской речи — весьма распространенный прием создания речевых образов в художественной литературе. Известным камнем преткновения поэтому для переводчика являются именно такие модели в оригинале. Ведь надо передать средствами своего языка «чужую» неисконную речь. Очевидно, например, что владеющие немецким языком по-особому говорят на французском. В русском же тексте следует передать речь немца на французском, но по-русски. Это абсолютно парадоксальная ситуация, но она часто встречается в переводческой практике. Вот несколько фраз из такой речи, взятых из русского перевода (Н. М. Любимова) романа Александра Дюма «Три мушкетера»: «А фам какое тело», «убередесь ли фы отсюда», «А фи кто такой, тшоб бредлагать мне идти гулять с фами» — все эти фразы принадлежат немецкоязычному швейцарцу. Он говорит на неисконной французской речи, но переводчик вынужден транспонировать ее в русскую неисконную речь. Добивается он этого с помощью известных способов моделирования русской речи немцев. Причем использует лишь часть известных приемов.

Мы видим, что вариативность неисконной русской речи всегда окрашена в «национальные цвета». Следует ли отсюда вывод, что вариантов неисконной русской речи столько, сколько этносов, в какой-то мере использующих русский язык? Казалось бы, что весь приведенный материал неизбежно подталкивает нас к этому выводу. Однако такой вывод кажется все же несколько преждевременным.

Нельзя не обратить внимания на то, что кроме фонетических явлений в неисконной русской речи есть и другая специфика. Она заключается в наличии в ней не только ошибок, которые неплохо

изучены, но и особенностей, которые касаются других языковых уровней и изучены в меньшей мере. Так, несклоняемость и неспрягаемость — явления универсальные. Они могут накладываться на все типы акцента. Но это явные ошибки, нарушения системы русского языка. Выбор же одного из существующих в русском языке вариантов является особенностью, не нарушающей системы языка. В одном из наших экспериментов мы предлагали нерусским выбрать один из предлагаемых способов передачи значения глагола *перепрыгнул*. Нужно было составить предложения. В 95 случаях из 100 выбирался вариант «Он прыгнул через ручей», в 3 случаях — «Он перепрыгнул через ручей». И только двое выбрали: «Он перепрыгнул ручей». Аналогично во всех случаях с передачей смысла способов глагольного действия; не *запел, а начал петь, не заиграл, а начал играть* и т. д. Этот эксперимент давал одинаковый результат в Азербайджане, в Армении, в Грузии. Реже, чем в русском языке, в неисконной русской речи употребляется вся палитра модификационных значений (экспрессивность, ласкательность, уменьшительность, уничижительность и т. д.). Это в большей мере касается словообразования, в меньшей — лексики. Вообще неисконная русская речь характеризуется сильной редукцией стилистических средств независимо от вида акцента. Указанные особенности универсальны — и это аргумент против признания существования разных этнических ее типов.

Обратим теперь внимание на особенности, которые как бы приплюсовываются к языку. В первую очередь это междометия. В неисконной русской речи почти не встречаются исконно русские междометия типа *ахоньки, аюшки*. Да и исходные формы *ой, ай, ох, ах* употребляются наравне с междометиями родного языка (*вах, вай, ой-бой* и т. п.). Можно было бы считать их вкраплениями родного языка, но дело в том, что они фиксируются в речи людей, родного языка не знающих, да и русскому языку они хорошо известны (даже квалифицируются как заимствования). То же самое можно сказать и об обращениях (*джан, джаным, кацо, ара* и т. п.). Хотя эти особенности и не указывают на конкретный регион, в большинстве случаев можно угадать, что это либо Кавказ, либо Средняя Азия.

Как видим, особенности носят более универсальный характер, чем просто акцент. Еще более универсальны ошибки. В самом деле, если мы читаем в тексте слова: «Батинка. Стаханы. Финал (пенал) ученический. Глопус. Лампа летучий мыш. Зубная пасть (паста)», то установить «родину» этих перлов практически невозможно (Солженицын. Архипелаг ГУЛАГ). «Так вот что. Последний вывод медицина, что человек совсем не нужен спать восемь часов» (Солженицын. Архипелаг ГУЛАГ). Автором этой фразы может быть человек любой национальности, плохо говорящий по-русски. В данном случае это казах. Несколько примеров, записанных нами в разных регионах: «Когда здесь упадет такой бомба, там ни один

чердак не останавливается» (речь идет об ударной волне); «Нарисовать треуголка под углом сорок градусов» (из объяснений учителя на уроке черчения). Наконец исключительно трудная для толкования фраза: «Один лопата бросаешь, два лопата на меня смотришь» (упрек в ленивости). Выразить его таким образом не придет в голову ни одному исконному носителю русского языка. Это буквальный перевод.

Если судить по последним примерам, то может создаться впечатление, что неисконная русская речь — это сплошное нагромождение несуразиц, и в таком случае правы те лингвисты, которые и не пытаются в них разбираться, просто считая все это искажением языка и потому недостойным внимания. Однако не все так просто. В теории контактологии существует понятие языковой принадлежности фактов речи (в разное время оно изучалось Г. А. Меновщиковым, Л. В. Щербой, В. Ю. Розенцвейгом, Е. М. Верещагиным, Э. А. Григоряном). Если следовать предлагаемым этими авторами методикам, то все наши случаи должны квалифицироваться однозначно — это «извод» именно русского языка, и именно русисты должны оценить и квалифицировать эту речь.

С другой стороны, неисконная русская речь неоднородна с точки зрения уровня владения языком, который в ней представлен. Это может быть нагромождение ошибок, под которыми еле заметны ее особенности, но если убрать ошибки, а это очень часто удается, то остается речь своеобразная, отличающаяся от русского литературного языка, но способная удовлетворить даже самые требовательные языковые вкусы. Немногим удастся достичь этого. В их числе писатели — билингвы, артисты, выступающие на двух языках. Это билингвы — виртуозы.

Таким образом, мы видим, что варьирование неисконной русской речи носит довольно сложный характер. С одной стороны, это, безусловно, варьирование этнического характера, особенно в той части, которая касается фонетики (акцент). С другой стороны, много аргументов и для признания регионального характера варьирования (грамматика, лексика, текст).

И все же мы больше склоняемся в пользу признания регионального характера варьирования неисконной русской речи. Конкретные регионы при этом не совпадают с официальными границами распространения языков, этносов, государств. По нашим наблюдениям, можно выделить следующие регионы: Кавказ, Закавказье, Западная Украина, Восточная Украина (включая сюда некоторые южные районы России), Средняя Азия с Южным Казахстаном, Поволжье, Прибалтика, Западная Белоруссия, Молдавия. Основные черты неисконной русской речи в каждом из указанных регионов в целом совпадают.

Наконец, последний аргумент в пользу именно такого подхода к поставленной задаче. Дело в том, что неисконная русская речь, даже

по меркам диахронического языкознания, функционирует уже довольно продолжительный период (ведь и в царской России русский язык являлся средством межнационального общения). За это время она приобрела довольно устойчивый характер. Эта устойчивость касается не только собственно языкового ее содержания, но длительной традиции использования языка именно в данном речевом оформлении. Сложилась многонациональные языковые коллективы, которые именно эту речь считают родной, именно ею пользуются в каждодневном общении. Русские, проживающие в этих регионах, также используют именно эту речь. Если в других сферах общения может функционировать и русский литературный язык, то сфера бытового общения безраздельно отдана неисконной русской речи. Иными словами, в указанных нами регионах неисконная русская речь устойчиво заменяет русскую разговорную речь. В других сферах она употребляется менее интенсивно.

Возвращаясь к теоретическим спорам о неисконной русской речи, отметим чрезвычайную сложность ее оценки, связанную с малоизученностью самого языкового материала для столь фундаментальных выводов. Но одно можно сказать со всей определенностью: «Неисконность — явление сугубо речевое». Этот вывод позволит нам беспристрастно исследовать ее особенности и оценить с точки зрения ее отношения к русскому языку.

Данная статья является продолжением статьи «Свой — чужой», опубликованной в номере 3 журнала «Русская речь» за 1994 год. Обе работы выполнены при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований.

«Ревнитель чистоты речи русской»

Н. Н. КОХТЕВ,

доктор филологических наук

**Памяти Дитмара
Эльяшевича Розенталя**

... В середине 50-х годов на филологическом факультете МГУ впервые объявляется спецкурс Д. Э. Розенталя по практической стилистике русского языка и культуре речи. Естественно, я, студент второго курса, записываюсь. Вместе со мной посещают занятия человек десять. Нам дают маленькую проходную аудиторию на четвертом этаже здания на Моховой. Всего четыре стола, и здесь мы занимаемся. Дитмар Эльяшевич щедро делится с нами своими знаниями, учит методике работы над словом, приемам стилистического анализа. Этот курс нас увлекает, захватывает. Насколько я помню, мы никогда не пропускали эти лекции: все для нас было интересно и ново. И не случайно слушатели первого на филологическом факультете спецкурса по практической стилистике впоследствии стали редакторами, журналистами, учеными. Работали и работают со словом.

Д. Э. Розенталь родился 24 февраля 1900 г. в городе Лодзи. Учился в обычной польской гимназии в Варшаве, где изучал русский язык. Польша в начале века входила в состав Российской империи, поэтому русский язык был обязателен для изучения. И, конечно же, в гимназии изучали греческий, латынь, английский и французский.

Спасаясь от ужасов первой мировой войны, семья переехала к родственникам в Москву, когда сыну Дитмару было 16 лет. Здесь он в 1918 году поступает в высшие учебные заведения. В 1923 г. заканчивает историко-филологический факультет МГУ, а в 1924 г. — экономический факультет Института народного хозяйства им. Г. В. Плеханова (бывший Московский Коммерческий институт). В этом же году поступает в аспирантуру Российской ассоциации научно-исследовательских институтов общественных наук (РАНИИОН) Института языка и литературы (1924—1926 гг.), специализируясь в области итальянского языка и литературы. Стажировку проходит в Италии, изучая итальянские диалекты. Д. Э. Розенталь известен как специалист по русскому языку, и не все знают, что он написал первый учебник итальянского языка для вузов, составил итальянско-русский и русско-итальянский словари, в его переводах выходили произведения классиков итальянской литературы.

В 1922 году с преподавания в школе II ступени началась педа-

гогическая деятельность Д. Э. Розенталя. Затем в его биографии последовали многие высшие учебные заведения, в которых он преподавал русский язык и стилистику. В 1962 году Д. Э. Розенталь, будучи уже профессором, возглавил кафедру стилистики русского языка факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова. На этой кафедре уже потом в качестве профессора-консультанта он оставался до конца своей жизни.

Сфера интересов Д. Э. Розенталя была необычайно широкой. Это практическая стилистика и культура речи, орфография и пунктуация, лексикология и функциональная стилистика, морфология и синтаксис, романское языкознание и полонистика. Но именно кодификация, нормализаторская деятельность привлекали его особое внимание. И, как справедливо отметил профессор Г. Я. Солганик, «Д. Э. Розенталь — один из авторитетнейших ревнителей чистоты речи русской, ее точности, правильности, выразительности. И на вопрос его книги „А как лучше сказать?“ никто не даст ответ лучше, чем ее автор».

Д. Э. Розенталь активно участвовал в нормализации орфографии, входя в состав Орфографической комиссии Института русского языка АН СССР. Примечательно его выступление на заседании Ученого совета филологического факультета МГУ 9 ноября 1964 г., где обсуждались «Предложения по усовершенствованию русской орфографии». Предполагалось, что обзор этой дискуссии, подготовленный автором этих строк, будет напечатан в журнале «Вестник Московского университета» (1965. № 2). Однако обсуждение в прессе проекта приобрело сенсационный характер, в результате чего в обществе сложилось впечатление, что реформа орфографии освободит учащихся от усилий в овладении родным языком. В связи с решением правительства о прекращении дискуссии по вопросам орфографии моя статья была снята в корректуре. По счастью, эта корректура у меня сохранилась. Д. Э. Розенталь не был консерватором, но в то же время он не принимал крайностей. Привожу полностью изложение его выступления: «Профессор Д. Э. Розенталь обратил внимание на то, что вопрос о дальнейшем усовершенствовании и возможном упрощении нашего письма был поставлен в Министерстве просвещения по инициативе учителей. Он напомнил, что в небольшой выдержке Президиума Академии наук РСФСР, которую огласил В. В. Виноградов, обращают на себя внимание три положения: трудности нашей орфографии; необходимость продолжения работы, намеченной и только частично осуществленной в 1956 г.; русский язык становится межнациональным языком, и нужно облегчить иностранцам, равно как и нерусским, живущим в нашей стране, изучение русского языка.

В проекте есть много верных положений, но есть и спорные. По мнению Д. Э. Розенталя, никто не делает ошибок ни в окончаниях

глаголов, ни в написании мягкого знака после шипящих в существительных женских рода. В самой системе русской орфографии имеется достаточно резервов для ее упрощения. Что же необходимо упростить? Нужно унифицировать употребление прописных букв, упростить написание слов с двойными согласными, правописание наречий, частицы *не*, отдельные правила пунктуации. Все это даст более легкое написание. Но к этому надо подойти правильно, не забывая принципа А. С. Пушкина „соответствия и соразмерности“».

Целая библиотека создана трудами одного человека. Это пособия для абитуриентов, учебники для техникумов и вузов, орфоэпические, фразеологические, орфографические, стилистические, двуязычные словари и справочники, исследования по стилистике, орфографии и пунктуации, многочисленные популярные работы... Д. Э. Розенталь осуществлял научное редактирование учебников и словарей, научно-методических сборников, был членом редколлегий журналов, заместителем главного редактора журнала «Русский язык в школе» (1938—1962). Известны его консультации для учителей в этом журнале.

Его соавторы и редакторы говорят об ученом с большой теплотой. Главный редактор издательства «Книга» А. Мильчин вспоминает: «Позднее мне повезло: я стал редактором нескольких книг Дитмара Эльяшевича, узнал его как автора. Повезло потому, что работать с ним легко и интересно. Дитмар Эльяшевич мягок, старается пойти навстречу редактору, но убедить его совсем не просто. Зато он стремится понять оппонента, охотно обсуждает замечания и если не соглашается, то лишь после тщательного обдумывания и объяснения. Такая совместная работа над рукописью — хорошая школа, которую мне удалось пройти.

Тщательная продуманность в подготовке рукописи, точность в выполнении обязательств, прекрасное понимание читательских ожиданий — отличительные черты авторской работы Д. Э. Розенталя. Но самое главное — желание принести практическую пользу нашему издательскому делу, максимально помочь тем, кто делает книгу. Справочники, пособия, учебники, написанные Д. Э. Розенталем, стали настольными в издательствах и редакциях.

— А что говорит Розенталь? Заглянем в Розенталя — эти реплики понятны каждому редактору, журналисту, корректору, многим авторам» (Журналист. 1980. № 4).

Д. Э. Розенталь хорошо чувствовал аудиторию, и его выступления могут служить образцом педагогического мастерства. Его лекции привлекали слушателей глубиной, логичностью и последовательностью изложения, четкостью, простотой композиции, насыщенностью множеством фактов.

В конце 20-х годов в Московском университете был создан этнологический факультет. Руководитель цикла западных и южных сла-

вян А. М. Селищев привлекал специалистов, не только имевших серьезную подготовку лингвистическую, но и хорошо знавших культуру страны изучаемого языка. Для занятий по польскому языку был приглашен молодой специалист. Профессор С. Б. Бернштейн в связи с этим вспоминает: «В моей памяти отчетливо сохранились те занятия, которые проводил с нами, студентами славянского цикла, Дитмар Эльяшевич. Они существенно отличались по научному уровню, по методике от лектур других славянских языков. Дитмар Эльяшевич не ограничивался теми задачами, которые были поставлены перед лекторами руководителем славянского цикла. Он сообщал много интересных сведений из истории польского литературного языка, из истории польской культуры, литературы. Знания Дитмара Эльяшевича в области полонистики были обширными и глубокими. Лектор талантливо и ненавязчиво раскрывал нам различные стороны польской общественной и культурной жизни. Некоторые из нас в значительной степени под влиянием его занятий избрали польский язык и польскую культуру, историю Польши предметом своих специальных исследований» (Там же).

Д. Э. Розенталь был членом многих Советов, в том числе Учебно-методического совета Министерства просвещения РСФСР, Научно-технического совета Министерства высшего и среднего специального образования СССР... И везде аргументированные, содержательные выступления: на заседаниях Советов, комиссий, кафедр. Вот что говорит профессор Б. В. Кривенко: «...Уже будучи аспирантом, я по счастливой случайности оказался на заседании кафедры русского языка МГУ, которое вел академик В. В. Виноградов. Обсуждались вопросы сравнительной стилистики славянских языков. И вот здесь я впервые увидел и услышал Дитмара Эльяшевича. Среди многих выступлений его замечания как-то особенно запомнились лаконичностью, образностью, порой ироничностью, но главное — богатством ассоциаций, вовлекающих слушателей в глобальные языковые явления» (Там же).

Д. Э. Розенталь много занимался методикой преподавания русского языка иностранцам. В мае 1962 г. на филологическом факультете МГУ был создан кабинет «Русский язык за рубежом», который и возглавил профессор Розенталь. При кабинете был образован совет, в состав которого вошли ученые, работавшие в области методики преподавания русского языка как иностранного. Основной их задачей было создание учебников русского языка для зарубежных стран с учетом общих трудностей усвоения русского языка лицами определенной национальности. В планах работы кабинета — организация авторских коллективов, сбор информации об опубликованных в России и за рубежом учебниках, методическая помощь преподавателям, составление обзоров учебной литературы, ее аннотирование, рецензирование и обсуждение рукописей.

Д. Э. Розенталь преподавал русский язык и выступал на конференциях в Италии, Германии, Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии, Польше, Австрии, Чехословакии. Его имя приобрело мировую известность, а по его учебникам занимаются во многих странах.

Уже в последние годы, когда бы я ни приходил к Дитмару Эльяшевичу домой, он всегда или слушал радио, или смотрел передачи телевидения, или читал газету с карандашом в руке. Душевную боль причиняли ему стилистические ошибки в средствах массовой информации, в выступлениях депутатов. Ошибка может распространиться в обществе, а СМИ должны пропагандировать культуру русской речи — таково было убеждение профессора. Как-то корреспондент газеты «Президент» спросил Д. Э. Розенталя: «Как Вы оцениваете деятельность средств массовой информации в последние месяцы?»

— Журналистика следует за жизнью, в какой-то степени копируя ее. Что не нравится, так это ёрнический, насмешливый тон, присущий многим изданиям. Любой факт подается в иронической, издевательской манере. Предположим, умерла какая-то старушка, а пишут так: „...бабуля не дожила до такого-то года“. Черный юмор? Но неужели только им можно привлечь читателя?

А как же раздражает, когда телевидение прерывает показ интересного фильма и потчует зрителя рекламой. По-моему, это антиреклама: не буду я ее смотреть, если настроился на восприятие фильма. Почему не отвести для рекламы специальное время? И вообще реклама на телевидении, с моей точки зрения, неудачна, неудобен зрительный образ, все какое-то кривляние. А предложите стоящий товар и необходимые услуги — и к чему тогда вычурные трюки?

Резко падает, особенно на телевидении, культура речи. С удовольствием вспоминаю дикторов, с кем сотрудничал долгие годы: Леонтьеву, Кириллова, Шатилову, Лихитченко. Они относились к слову с уважением. Из нынешних телеведущих нравится мне Комарова. А некоторые молодые обескураживают своей небрежностью...» (Президент. 1994. 16—18 февр.).

Дитмар Эльяшевич был весьма скромным и даже застенчивым. Профессор А. Западов вспоминает: «Рассказывают, что однажды, когда Дитмар Эльяшевич Розенталь в дни вступительных экзаменов проходил по факультету, на него наскочила абитуриентка и, показывая написанные на листке строки, спросила:

— Вы понимаете что-нибудь в разборе предложений?

— Кое-что, — сказал Дитмар Эльяшевич, не улыбувшись.

— Ну-у, — разочарованно протянула абитуриентка и отвела руку. Ей нужен был человек, который умеет разбирать предложения „по Розенталю“ и знает о них все, а не кое-что...

Скромность — едва ли не самая главная черта в характере Дитмара Эльяшевича как человека и как ученого» (Журналист. 1980. №4).

Будучи истинным представителем старой интеллигенции, на вопрос «Не стала ли интеллигентность в современном обществе пережитком?» Д. Э. Розенталь ответил: «Само понятие „интеллигентность“ подверглось деформации, стало менее значимым. В дореволюционное время неизменными атрибутами интеллигентности были интеллектуализм, эрудиция, порядочность. Мне повезло знать старых русских интеллигентов, замечательных ученых Селищева, Ушакова, Ожегова, Борковского, Обнорского. Знания и нравственность были для них неразделимы. И неужели сейчас считается интеллигентом полуфашист Жириновский, знающий, кажется, пять языков?..»

Интеллигенция — понятие социальное, интеллигентность — понятие нравственное, этическое. Если применять классовые термины, нынешняя интеллигенция — рабоче-крестьянская, а прежде это была прослойка скорее буржуазного типа» (Президент. 1994. 16—18 февр.). Прочитайте еще раз эти слова. Они весьма и весьма поучительны.

Великий труженик Дитмар Эльяшевич Розенталь несомненно войдет в новый век своими интересными работами. Сегодня ими пользуются и школьники, и учителя, и редакторы, и журналисты, и ученые — все, кто работает с языком, кто любит его, дорожит им. В чем же причина того, что труды Д. Э. Розенталя столь популярны? Естественно, в их актуальности. Но не только. Еще — в их многогранности. На его творчество оказали влияние три фактора. Во-первых, знание иностранных языков. По признанию Д. Э. Розенталя, русский язык был для него выученным языком. То есть он воспринимал этот язык как иностранный. Это позволило ему посмотреть на русский язык со стороны и отчетливо увидеть его структуру, сравнивая с другими языками. Во-вторых, Дитмар Эльяшевич получил математическое образование. Он занимался проблемами нормы, а норма требует почти математической точности в квалификации, умения исключить все возможные случайности, правильно вычислить варианты. И в-третьих, гуманитарное образование способствовало тому, что исследователь подходил к речевым явлениям с функциональной точки зрения, допускающей варианты нормы в разных речевых ситуациях, с разными стилистическими целями. И вот эти особенности позволили ученому рассматривать речевые явления с двух точек зрения: нормативно-стилистической и функционально-стилистической, создать ценные и практически нужные работы. Безусловно, значение его трудов сохранится и в будущем веке. Можно сказать, что это человек, ученый трех веков: XIX, XX, XXI; в XIX веке он родился (1900 г.), в XX веке он творил, а в XXI век несомненно перейдут его замечательные работы.

Скончался Дитмар Эльяшевич Розенталь 29 июля 1994 г.



Необыкновенные приключения
Климентa,
папы Римского,
как о них рассказано
в Макарьевских
Великих Минях Четиих *

*Е. М. ВЕРЕЩАГИН,
доктор филологических наук*

Мы с вами в прошлый раз оставили Климентa, молодого ученика первоверховного апостола Петра, в весьма затруднительном положении: он только что чудесным образом нашел свою мать и братьев, но вся семья не может сесть за один стол, поскольку Маттидия еще

* Продолжение. Начало см.: Русская речь. 1995. №№ 1—3. Напоминаем читателям, что тексты «Необыкновенных приключений...» печатаются по рукописи ГИМ под шифром Син. 988; в данной статье лл. 1196^б, II, 24—1196^а, I, 17; 1197, I, 1.

не крещена. А совместные трапезы первых христиан были не только обедами и ужинами, а еще и религиозными собраниями.

Апостол Петр настаивал на том, чтобы Маттидия перед крещением постилась хотя бы один день. С другой стороны, он, конечно, понимал, что для любящих друг друга людей психологически невозможно сесть за стол по-отдельности...

Апостол Петр находит выход из затруднения

Он предлагает всему сообществу учеников, если выразиться по-современному, проявить солидарность: поститься целый день вместе с Маттидией, чтобы, с одной стороны, дисциплинарное правило было все-таки соблюдено, а с другой — соединенная семья ни разу не разлучалась.

И рече Петр: «Да не одолевает нам зло, (<...>) но паче [здесь: *лучше*] вы и аз с вами днесь [сегодня] пребудем постящися, и утро крестятся. Ни час бо днешняго дне строен [годится] на крещение».

И обаче [однако] тако быти вси изволихом [пожелали].

В утрии же зело [весьма] рано Петр, возбуждъся [пробудившись], вниде к нам и рече: «Фавстин и Фавстиниан купно [вместе] с Климентом и со своими да идут по мне [за мной], и в прикровно [укромное] место морьское пришедше, крестити ю [ее] возможем».

Обаче на побережии бывшем нам, между камених [среди камней] некоторых тихо место обретши [найдя], крестити ю [крестил ее], во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы же, братие и инии неции, жен ради [из-за женщин] отидохом.

Потом Петр жены [женщин], народа ради, предпосла [послал впереди нас] инем путем в обитель приити, нам едином повеле быти с материю и прочими женами.

Пришедшем убо в обитель [когда мы пришли к месту, где жили] и ждущем его пришествия [и ждали его прихода], друг ко другу повести деяхом [делали]. По довольных же часех [здесь: по продолжительном времени] Петр, пришед, прием хлеб и хвалу воздав, благословив, преломль [преломив], матери первые [первой] вдав и потом нам, сыновом ея. И тако с нею ядохом [ели] и Бога благословихом.

Евхаристия и вечеря любви

Сначала в «Слове похвальном Клименту», которое мы фрагментарно публикуем, описано так называемое евхаристическое собрание первохристиан, которое проводилось по образцу Тайной вечери Господней (См. Евангелие от Матфея 26, 26—28; от Марка 14, 22—25; от Луки 22, 15—20; Первое послание к Коринфянам 10, 16—17; 11, 23—26).

Легко заметить, что апостол Петр в «Слове» точь-в-точь повто-

ряет те же действия и слова; он исполняет заповедь своего Господа «сие творить» в Его воспоминание. После преломления хлеба Иисус, «взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все; Ибо сие есть Кровь Моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов» (Евангелие от Матфея 26, 27—28).

Во время евхаристии (причастия) по христианским верованиям — а они и по сей день ничуть не изменились, — хлеб и вино претворяются в Тело и Кровь Иисуса Христа. Евхаристия — это одно из важнейших христианских таинств. Поэтому апостол Петр настаивал на обязательном посте и достойно готовил недавнюю язычницу к благоговейному участию в обряде.

За евхаристией на раннехристианских собраниях следовала т. н. *агапа*, или *вечеря любви*.

В греческом языке есть несколько слов для выражения понятий, которые по-русски все одинаково передаются словом *любовь*. Так, чувственное влечение полов друг к другу называется *eros* (отсюда, скажем, *эротика*), взаимное притяжение друзей или привязанность к роду занятий — *filia* (отсюда, например, *филолог* «любящий слово»), а благоговейное чувство по отношению к Богу и благосклонность христиан друг к другу — *agape*.

Agape — это преимущественно христианское понятие, и апостол Павел посвятил ему вдохновенный гимн (Первое послание к Коринфянам 13, 4—7): «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит».

Так вот, проявлением любви и был обычай «агапы», или «вечери любви», продержавшийся до конца VII века. О нем упоминают раннехристианский писатель Игнатий Богоносец (в Послании к Смирнянам), римский легат Плиний Младший (в знаменитом письме императору Траяну). Это был настоящий обед, и блаженный Августин описывает его как благотворительную трапезу: богатые христиане давали средства, чтобы бедные единоверцы могли насытиться. Кроме того, это была демонстрация равенства христиан: богатые и бедные, знаменитые и незаметные, господа и рабы сидели вперемешку и ели одну и ту же пищу.

Маттидия, став христианкой, причастилась, а затем приняла участие и в вечери любви.

Появление «клюкавого» старца

Петр же после крещения Маттидии не сразу вернулся в дом, а только «по довольных часех» (то есть по прошествии длительного времени). О причинах его задержки пойдет речь в следующем фрагменте.

Когда после таинства евхаристии и вечери любви женщины отправились к себе, апостол велел ученикам остаться.

Тогда потом Петр <...> вседе [сел] и нам повели [повелел] сести окрест себе. Начат [начал] поведати нам, глаголя, что ради [по какой причине] нас прежде отсла [отослал] крещения, самъ же опоздевся [позже] приде [пришел].

Вину [причину] же глаголя сичеву [такую]: «Муж стар совниде [вошел вместе с нами; имеется в виду то место у моря, где была крещена Маттидия], крадяся. Аз же разумех его зело клюкава суща [что он очень лукав]. <...> Потом отаи [неприметно] излезе [вышел] и на праздно место шед. Мне исходящу [когда я уходил], он же, мняся [здесь: неуверенно], последова ми. Целование двав [приветствовал меня], и рече: „Много ти воследовав [я много ходил за тобой] и беседовати хотев, бояхся <...>. Ныне же мне, яже суть мнима истинна, аще повелиши да глаголю“».

Судя по сказанному, Петру встретился один из бродячих «любомудров», которых в Палестине в I—II веках было немало. Среди них попадались и серьезные философы, богословы, подлинные искатели истины и спасения души, но все же большей частью это были лжеврачеватели, псевдопророки, ловкие фокусники и откровенные шарлатаны-волхвы. В одиночку или в окружении учеников, они переходили с места на место, и любимым их занятием было устройство диспутов-словопрений, на которых с жаром обсуждались все возможные и невозможные вопросы.

Редкое древнерусское слово *клюкав* означает: *хитрый, коварный, пронырливый, ловкий*, а также *лукавый*, то есть человек, безусловно, умный, но с умом, направленным не на беззаветный поиск истины, а на «игру» — на превратное, извращенное употребление интеллектуальных способностей.

Похоже, что этот клюкавый старец и Петра, путешествовавшего с учениками, принял за своего сотоварища, то есть за бродячего любомудра, тем более, что он уже давно следил за публичными выступлениями апостола. Теперь клюкавый старец хотел бы вовлечь Петра в словопрение. Поэтому он просит разрешения изложить свои взгляды: «яже суть мнима истинна [то есть о том, что представляется истинным], аще позволиши, да глаголю [позволь рассказать]». Такова была тактика диспута: по этикету Петр был обязан в ответ изложить свою точку зрения, а дальше диспутанты более или менее горячо сопоставляли свои взгляды.

Промысл и судьба

Итак, Петр продолжает свой рассказ о знакомстве со старцем.

Аз же отвещах: «Глаголи нам добраа, и восприимем тя, понеже

добрым произволением [*по доброму намерению*] мнимое тебе добро [*о том, что тебе кажется добром*] реши восхотел еси [*хочешь сказать*]

Старец же начят глаголати сице: «Несть», рече, «ни Бога, ни промысла, но бытию [*здесь: судьбе*] всяческая подлежат. Яко же аз в них зело пострадах и известило ми ся есть [*и мне стало ясно*], от многа и испытно уведения [*от многого и опытного познания*]: не убо прельщаися о молитве [*не надейся на действие молитвы*], яже от бытия нужда пострадати имаши [*если судьбой тебе предназначено пострадать*]. Аще молитвы могли быша [*могли бы*] что добро творити нам, то, мню [*думаю*], и в лучших аз был бых [*моя жизнь сложилась бы лучше*]. Да не блазит тебе [*пусть тебя не вводит в заблуждение*] сия убогаа моя одежда, егда веры не имеши, о нихже [*о чем*] глаголю. Во мнозе [*многом*] богатстве жития некогда живях [*жил*]. Многу богом жертву творях [*хотя приносил богам много жертв*], бытия [*судьбы*] избежати не возмогах. <...> Ныне же, яко бытию всяческаа подлежат, известити хошу».

Здесь, пожалуй, необходим, хотя бы краткий, историко-культурологический комментарий. Надо разобраться в том, что стоит за ключевыми словами *судьба* и *промысл*.

Согласно некоторым (преимущественно языческим) верованиям, все в мире определяется слепой и неумолимой судьбой (мойрой, фатумом, роком). То, что случается с человеком, не имеет никакой цели и происходит независимо от него; если человеку «выпала» злая судьба, то как бы он ни старался, ее не избежит, а если, напротив, кто родился под счастливой звездой, то счастье обеспечено. Судьба даже выше богов, потому что и боги ее избежать не могут. Вот и клюкавый старец говорит, что он приносил богам много жертв и постоянно молился, но тем не менее его постигли все несчастья, написанные ему на роду. «Бытию всяческаа подлежат» (сказал старец), то есть «всем управляет судьба»; следовательно, сам человек не ответствен за то, как сложилась его жизнь. Вера в судьбу, которой подчинены боги, оборачивается атеизмом; старец прямо сказал: «Несть [*нет*] Бога».

Христианская точка зрения — совсем другая. Христиане верят, что все совершается по промыслу Божию, — каждый человек находится под защитой, имеет свой талант и доброе предназначение, так что с ним, по конечному счету, не происходит ничего случайного. За человеком признается свободная воля, и он, разумеется, в большей мере сам ответствен за свою жизнь. Бог, конечно, провидит, что с человеком случится, но это не значит, что Бог жестко диктует ему, как себя вести. Бог не безучастен к жизни отдельного человека или народа, он может вмешаться, вразумить грешника и даже совершить

чудо,— поскольку он всемогущ, нет никакой судьбы, которая была бы препятствием для него.

Апостолу Петру, как его образ нарисован в «Слове», не откажешь в находчивости: он ловит старца на слове. Рассказ апостола продолжается.

И аз рекох: «Аще бытию всяческая подлежать, себе противнаа совещеваеши. <...> Что всеу тружаешися? Аще бытие есть, то не тщиися покорити мене».

Мысль Петра такова. Если все определяется судьбой, то в данном случае (то есть пытаюсь переубедить меня), ты впадаешь в противоречие с самим собой. Зачем тебе прилагать усилия? Если есть судьба, и мне уготовано верить или не верить в нее, то так и будет. Зачем тебе стараться переубедить меня?

Впрочем, Петра заинтересовала полная превратностей жизнь клюкавого старца. Не желая обсуждать отвлеченные вопросы, он просит его: «Ты же, о сихь оставль, повеждь нам [*расскажи нам*], яже [*как*] еси пострадал».

И старец начинает свое фантастическое повествование. О том, что именно он рассказал,— а также о многом другом,— вы прочитаете в следующем номере.



ТРИ ВЕКА — ТРИ ПИСАТЕЛЯ

*Н. В. ПОДОЛЬСКАЯ,
доктор филологических наук*

Размышляя об истории русского литературного языка с тех пор, как он существует, мы видим, как он преобразался, менялся, становясь просто иным. Он родился во времена Ломоносова, подготовленный его предшественниками, но и вопреки им: мы имеем в виду прежде всего Адодурова и Третьяковского. Но он был также подготовлен социальными преобразованиями Петра I и самой языковой ситуацией в России. Б. А. Успенский, правда, утверждает, что «создание нового литературного языка определяется не столько реальной необходимостью, сколько идеологическими потребностями, обусловленными в свою очередь культурной ориентацией: эта задача выступает и формулируется как своего рода социальный заказ» (Краткий очерк истории русского литературного языка (XI—XIX вв.). М., 1994. С. 120; далее: Успенский). Это был век XVIII. А в XIX грянул Пушкин с его новаторством в языке. С его любовью к народной стихии ему удалось вновь преобразовать литературный язык. Н. Н. Раевский писал Пушкину в 1825 г.: «Вы окончательно ут-

вердите у нас тот простой и естественный язык, который наша публика еще плохо понимает...»

Минул XIX век. Наступил XX. В середине его появляются первые произведения А. И. Солженицына и первым среди них — «Один день Ивана Денисовича». «Язык Солженицына вызвал настоящее потрясение у русского читателя», — пишет профессор Женевского университета, биограф писателя Жорж Нива (Солженицын. М., 1992; далее: Нива). Языковая ситуация во времена Солженицына иная и много хуже, чем во времена Ломоносова и Пушкина. Уже не говоря о социальных преобразованиях. Кроме того, согласитесь, что писать о том, о чем главным образом пишет Солженицын, языком Пушкина — невозможно. Александр Исаевич в интервью журналу «Тайм» («Юность» — обл. яросл. газета, 19 авг. 1989) говорит об этом так: «У меня совершенно необычный материал, который требует своего собственного жанра и художественных приемов».

Чтобы языковая ситуация и социальные преобразования, вызвавшие реформаторскую деятельность всех трех писателей, были яснее, напомним читателям некоторые факты. Языковая реформа отнюдь не означает отрицания предшествующего, а осуществляется наряду с преемственностью.

Предоставим М. В. Ломоносову первое слово: «Тупа оратория, косноязычна поэзия, неосновательна философия, неприятна история, сомнительна юриспруденция без *грамматики* (курсив наш. — Н. П.). И хотя она из общего употребления языка происходит, однако правилами показывает путь самому употреблению» (Ломоносов М. В. Полн. собр. соч. Т. VII. Труды по филологии 1739—1758. Российская грамматика. С. 392; далее: Ломоносов). Так высоко оценивает Ломоносов роль грамматики, но кроме общей оценки находим у него и частную: «... общая грамматика есть философское понятие всего человеческого слова, а особливая, какова российская грамматика, есть знание как говорить и писать чисто российским языком по лучшему, рассудительному его употреблению» (Ломоносов. С. 420).

В современном издании «Российская грамматика» имеет 187 страниц и 592 параграфа. Иными словами, это обширное сочинение, подробно разъясняющее употребление форм с перечнем самих слов, которые в этих формах могут использоваться, — § 246: «Увеличительных имен три рода имеют российские имена существительные: 1) на *ище*, 2) на *ина*, 3) на *инище*: *столь*, *столище*, *столина*, *столинище*; *рука*, *ручище*, *ручина*, *ручинище*. Все они значат вещь грубую» (Ломоносов. С. 473); § 385: «Которые перед *ю* имеют самогласную, переменяют *ю* на *й*: *строю*, *строй*; *клею*, *клей*; *двою*, *двой*». «Грамматика» Ломоносова — первая подлинно научная грамматика русского языка. Она закрепила живые нормы слово-

употребления, отменила устаревшие формы и конструкции. Ломоносов «не столько порождает формы литературного языка, сколько черпает их из имеющегося в его распоряжении материала» (Успенский. С. 141).

Может быть, мы говорим о вещах, хорошо известных читателям, однако во времена Ломоносова все это было новаторством и языковой реформой. Ломоносов сочетает в русском литературном языке церковно-славянские и русские элементы (церковно-славяно-русское двуязычие), распределяя материал этих языков по двум стилям: «высокий штиль» черпает из церковно-славянского источника, а «простой штиль» или «просторечие» — из разговорного русского. Это не совсем совпадало с тем, чего желал Петр I при строительстве новой России, новой русской культуры и нового литературного языка. «Создание новой русской культуры предполагало сознательную дискредитацию старой: новое создается за счет старого как его антипод (ср. аналогичные тенденции в начальные и последующие годы революции в России.— Н. П.). Совершенно так же создание нового литературного языка, предназначенного для светских нужд,— непосредственно связанное с реформой азбуки и размежеванием церковной и гражданской письменности — оставляло за традиционным церковно-славянским языком права и функции языка церковного, культового, каким он в конце концов и стал» (Успенский. С. 119—120).

Говоря о языковой деятельности Ломоносова, нельзя оставить без внимания его другое сочинение «О пользе книг церковных в российском языке». Сам Ломоносов так оценивает эту пользу в Предисловии: «Сия польза наша, что мы приобрели от книг церковных богатство к сильному изображению идей важных и высоких, хотя велика, однако находим другие выгоды, каковых лишены многие языки, и сие, во-первых, по месту.

Народ российский, по великому пространству обитающий, невзирая на дальное расстояние, говорит повсюду вразумительным друг другу языком в городах и селах. Напротив того, в некоторых других государствах, например в Германии, баварский крестьянин мало разумеет мекленбургского или бранденбургский швабского, хотя все того ж немецкого народа...

По времени ж рассуждая, видим, что российский язык от владения Владимирова до нынешнего веку, больше семисот лет, не столько отменился, чтобы старого разуместь не можно было: не так, как многие народы, не учась, не разумеют языка, которым предки их за четыреста лет писали, ради великой его перемены...» (Ломоносов. С. 590).

В этом труде Ломоносов уже предлагает три стиля, поясняя каждый лексическими примерами: «российский язык через употребление книг церковных по приличности имеет разные степени: вы-

сокий, посредственный и низкий. Сие происходит от трех родов речений российского языка.

К первому причитаются, которые у древних славян и ныне у россиян общеупотребительны, например: *Богъ, слава, рука, ныне, почитаю*. Ко второму принадлежат, кои хотя обще употребляются мало, а особливо в разговорах, однако всем грамотным людям вразумительны, например: *отверзаю, господень, насажденный, взываю*. Неупотребительные и весьма обетшальные отсюда выключаются, как: *обаваю, рясны, овогда, свене* и сим подобные.

К третьему роду относятся, которых нет в остатках славенского языка, то есть в церковных книгах, например: *говорю, ручей, который, пока, лишь*. Выключаются отсюда презренные слова, коих ни в каком штиле употреблять непристойно, как только в подлых комедиях» (Ломоносов. С. 588).

В седьмом томе сочинений Ломоносова есть слово «От редакции», где сказано: «Ломоносов — филолог, в отличие от Ломоносова — естествоиспытателя, стяжал славу еще при жизни. В этой области его слава, по совершенно точному определению Радищева, была „славой вождя“» (с. 773). Далее перечисляются его заслуги в филологии и в том числе он назван революционером в теории и практике стиха (но это спустя два столетия!). Его Ода на взятие Хотина 1739 года была написана новым для русской поэзии тоническим стихом, ее считают началом русской литературы. Вот ее первые стихи:

Восторг внезапный ум пленил,
Ведет на верьх горы высокой,
Где ветер в лесах шуметь забыл;
В долине тишина глубокой.

М. В. Ломоносов не только создает стихи в соответствии со своей теорией стихосложения и в согласии со своей теорией трех стилей, он вводит в свою речь сдвиги в области значений слов. Стиль его характеризуют резкие метафоры, смелые эпитеты, нарушающие логическую связь понятий. Такого рода словоупотребление вызывает критику Сумарокова (ср. критику, которой подвергается язык Солженицына).

В XIX веке Пушкин как будто продолжает начатое Ломоносовым дело синтеза церковно-славянской и русской языковой стихии, однако «При всем сходстве роли Пушкина и Ломоносова в истории русского литературного языка, их языковые установки обнаруживают существенные различия» (Успенский. С. 170). Это касалось прежде всего непризнания Пушкиным различия текстов по стилям.

Если Ломоносов, будучи ученым-филологом, написал многие лингвистические и литературоведческие труды, отразившие его идеи, то Александр Сергеевич не создавал грамматик, не писал трактатов о языке, не предлагал читателям риторик. Его мысли о

языке и литературе рассыпаны по немногочисленным статьям, критическим заметкам и письмам.

Для нашей темы безразлично, как сам Пушкин оценивает Ломоносова. Вот несколько высказываний: «В царствование Петра I начал он (язык. — *Н. П.*) приметно искажаться от необходимого введения голландских, немецких и французских слов. Сия мода распространяла свое влияние и на писателей, в то время покровительствуемых государями и вельможами; к счастью явился Ломоносов» (Пушкин А. С. Собр. соч. в 10 т. Т. VI. М., 1976. С. 11—12; далее: Пушкин); «Мы напрасно искали бы в первом нашем лирике пламенных порывов чувств и воображений. Слог его ровный, цветущий и живописный, заимлет главное достоинство от глубокого знания книжного славянского языка и от счастливого слияния оного с языком простонародным» (Пушкин. С. 12). Отдавая должное Ломоносову, Пушкин пишет: «Ломоносов был великий человек. Между Петром I и Екатериной II он один являлся самобытным сподвижником просвещения». Однако же и достается Ломоносову за его поэзию: «Оды его, писанные по образцу тогдашних немецких стихотворцев, давно уже забытых в самой Германии, утомительны и надуты. Его влияние на словесность было вредное и до сих пор в ней отзывается. Высокопарность, изысканность, отвращение от простоты и точности, отсутствие всякой народности и оригинальности — вот следы, оставленные Ломоносовым» (Пушкин. С. 340). Как бы ни относиться к этому суждению, но из него с очевидностью следует все, что Пушкин порицает в поэзии, и то, что он в ней ценит: простоту, точность, народность, оригинальность.

Но поэзия — это еще не весь язык. Пушкин имеет свое суждение о нем: «Как материал словесности, язык славяно-русский (речь явно идет о литературном языке. — *Н. П.*) имеет неоспоримое превосходство пред всеми европейскими: судьба его была чрезвычайно счастлива. В XI веке древний греческий язык вдруг открыл ему свой лексикон, сокровищницу гармонии, даровал ему законы обдуманной грамматики, свои прекрасные обороты, величественное течение речи; словом, усыновил его, избавя таким образом от медленных усовершенствований времени. Сам по себе уже звучный и выразительный, отселе заимлет он гибкость и правильность. Простонародное наречие необходимо должно было отделиться от книжного; но впоследствии они сблизились, и такова стихия, данная нам для сообщения наших мыслей» (Пушкин. С. 11).

Весьма существенно замечание К. И. Чуковского: «... поэзия новой эпохи требует других сюжетов, другого стиля, других интонаций и ритмов» (Мастерство Некрасова. М., 1959. С. 49; далее: Чуковский). Эта «формула» может быть применена к творчеству любого значительного писателя новой эпохи и тем более — к тем трем писателям — Мастерам, на которых сосредоточено внимание в на-

стоящей статье. Но за эту смену сюжетов, стиля и интонаций, произведенных смело, ярко, талантливо, все они подвергались и подвергаются критике современников. «Прочитав в „Евгении Онегине“, что Ларины, уезжая в Москву, повезли с собой в трех кибитках „Кастрюльки, стулья, сундуки,/Варенье в банках, тюфяки./Перины, клетки с петухами,/Горшки, тазы...» (гл. VII), критик „Северной пчелы“ глумился над этим тяготением к „низменным“ образам и восклицал: „Мы не думали, чтобы сии предметы могли составить прелесть поэзии и чтобы картина горшков и кастрюль... была так приманчива“» (Чуковский. С. 68).

И сам Александр Сергеевич, понимая иронию читающей публики, иронически же восклицал: «...таков мой организм (Извольте мне простить ненужный прозаизм)» или: «В последних числах сентября (Презренной прозой говоря)». «Старозаветные критики Пушкина считали „низкими“ и „бурлацкими“ такие слова, как *усы, нос, ноздри, визжать, щека, девчонка, вставай, рукавица* и т. д. Критик издававшегося Каченовским „Вестника Европы“ возмущался такими „неприличными“ в „порядочном обществе“ стихами „Руслана и Людмилы“, как:

Не то — шутите вы со мною —
Всех удавлю вас бороною!» (Чуковский. С. 70).

Просто невероятными кажутся сейчас такого рода суждения.

Пушкин жалуется на несостоятельную критику «Бориса Годунова»: «Мне казалось... что трогательное добродушие древних летописцев... украсит простоту моих стихов и заслужит снисходительную улыбку читателя; что же вышло? Люди умные обратили внимание на политические мнения Пимена и нашли их запоздалыми; другие сомневались, могут ли стихи без рифм называться стихами. Г-н З. предложил променять сцену „Бориса Годунова“ на картинку „Дамского журнала“. Тем и кончился строгий суд почтеннейшей публики» (Пушкин. С. 250).

Кажется, мы слишком углубились в критику, коей подвергался наш великий поэт, однако это одна из подтем нашей темы: великих и самобытных современники часто не понимают и критикуют. Однако основная тема касается преобразований в языке. Обратимся еще раз к К. И. Чуковскому: «Пушкин — великий поэт-реалист, преобразователь языка, основатель поэзии — сам, особенно в конце жизни, большим и уверенным шагом шел к той демократической лексике, к тем свободным интонациям, к тому „низкому“, „прозаическому“, „разговорному“ слогу, которые нынче по праву носят название некрасовских» (Чуковский. С. 70—71).

И в заключение послушаем, что Пушкин особенно ценит в языке: «Чем богаче язык выражениями и оборотами, тем лучше для искус-

ного писателя. Письменный язык оживляется поминутно выражениями, рождающимися в разговоре, но не должен отрекаться от приобретенного им в течение веков. Писать единственно языком разговорным — значит не знать языка» (Пушкин. С. 178).

Языковая ситуация и причины, требующие изменений и обновлений в языке XX в., у Солженицына были совсем не пушкинские. XX век пришел вместе с революцией в России, когда одним из первых декретов был «Декрет о введении новой орфографии» (10 окт. 1918 г.). И далее пошло: негласная отмена заглавных букв в культовых словах (*Бог, Богородица, Святой Дух* и др.); выбрасывание слов, отражающих неугодные идеологические понятия; введение некой интернациональной лексики, политических и канцелярских штампов; подмена евангельских и богослужебных выражений и «возгласов» лозунгами («Миру мир!» вместо «Мир мирови даруй!»; «Кто не с нами, тот против нас!» вместо «Кто не со мною, тот против меня» (Ев. от Луки, гл. 11, ст. 23); «Кто не работает, тот не ест» вместо «трудящийся достоин награды за труды свои» (Ев. от Луки, гл. 10, ст. 7); переименование городов, сел, деревень, улиц, площадей и, главное, — людей, когда была дана полная свобода называть детей и называться взрослым любой кличкой (а люди-то думали, что это имена, таковы: *Майя, Ноябрина, Владлен, Ким, Гелий, Радий, Марксина, Сталина, Лагшмивара* — «лагерь Шмидта в Арктике», *Родмонга* — «родина—Монголия» и даже *Винегрет*). «Революция спешит все переназывать...», — говорит Солженицын в «Архипелаге ГУЛАГЕ» (т. I. С. 311). Язык тупел, обезображивался и пошел на глазах (т. е. в воспоминаниях высмеянный современниками язык Эллочка Людоедки).

Солженицынский принцип «жить не по лжи» выражается им, в частности, в той языковой реформе, которую он стремится провести в разных направлениях. Это возвращение утраченных, изгнанных слов и вместе с ними понятий (что происходит не только в художественных произведениях: А. И. Солженицыным создан «Русский Словарь языкового расширения». М., 1990). Это авторские словообразовательные неологизмы, которые служат для заострения мысли читателя, например: «Арест — это мгновенный разительный переброс, перекид, перепласт из одного состояния в другое» (Архипелаг ГУЛАГ); «Отец Северьян был прислушлив ко всем переходам мысли» (Красное колесо); «Когда ощутишь, как это перед ними зинуло — не бездна, не пропасть, но — щель безширная, косая, темная, внизу набитая трупами, а выше — срывчатая безвыходность» (Красное колесо). Характерна для автора и особая структура фразы, особый синтаксис, но отнюдь не везде, а лишь отдельными вкраплениями, например: «Саня — пятью пальцами за лоб, как перещупывал» (Красное колесо). Остается непонятым, почему читатели жалуются на трудность языка Солженицына. Неужели

такие фразы для русского представляют трудность?! Вероятно, наш читатель, развлекаемый телевизором, во многом отвык от серьезного вдумчивого чтения. Обратите внимание, какие подзаголовки имеют главные произведения А. И. Солженицына: Архипелаг ГУЛАГ — Опыт художественного исследования; Красное колесо — Историческая эпопея в 10 томах. Это литература, пронизанная историче-

Среди других авторских приемов А. И. Солженицына следует назвать введение в текст подлинных документов, цитирование участников событий; словно высыпанные на страницы книги кусочки рекламных вырезов; почти кинематографические зарисовки событий.

Многообразии средств для оживления языка у Александра Исаевича представляется удивительно жизненным и своевременным, особенно после рутины соцреализма. «Все искусство Солженицына начинается с бунта против идеологического слова, речи со встроенной в нее ложью; именно этой встроенной ложью определяют отвлеченность, псевдолитургические повторы, обедняющий космополитизм языка» (Нива. С. 131). Скажем несколько слов и о диалектной речи у солженицынских героев, которой у нас пренебрегали, желая нивелировать говоры, все свести к некоему общему псевдолитературному языку. Вот образец рязанского говора Матрёны в «Матрёнинном дворе»: «По-бывалашному кипели с сеном в межень, с Петрова до Ильина. Считалось грава — медовая», или: «Не уемши, не варёмши — как утрафишь?». Невозможно умолчать и о рассказчике Игнатиче (там же), который выбирает себе место поселения по его названию, потому что в старину названия «не лгали»: у деревень, как и у людей, были прозвища, открывавшие душу. Потом их заменили варварскими кличками вроде «Торфопродукт»; «Ах, Тургенев не знал, что можно по-русски составить такое!»

Ну, что же, скажет читатель, разве один Солженицын использует диалектную речь для своих героев? Это и так, и не совсем так: у Солженицына эта речь служит не только для характеристики персонажа, автор относится с полным уважением к этой речи, любит ее красотой, напевностью.

Живая речь по-разному представлена в произведениях писателя. «В социальном микрокосме больничной палаты (в „Раковом корпусе“) звучат все языки советского общества: приглушенный жаргон, сталинские штампы и сигнальные слова Русанова, вольный, но потерявший корни язык Поддуева, языковая скудость Ахмаджана, казаха и невольного тюремщика, наивная идеологическая речь Вадима (усвоенная в школе), технический язык медицины (прячущий свой диагноз). И у всех одна цель — лгать» (Нива. С. 133). Более того, в «В круге первом» в основе сюжета — человеческая речь: вся шарашка работает над опознанием, кодированием, глушением человеческого голоса. А сколько в реальности было глушителей, не дававших

возможности советскому человеку слушать «чужие голоса», недозволенные речи!

А. И. Солженицын написал специальный текст о письменной речи «Некоторые грамматические соображения» (см. «Русская речь». 1993. № 2). Предваряя публикацию, Л. П. Крысин очень точно констатирует: «Ему тесны традиционные правила грамматики; устоявшиеся каноны орфографии и пунктуации кажутся недостаточными и потому не всегда пригодными для точной передачи в тексте слова, высказывания, диалога» и еще: Солженицын назван Мастером и создателем «того языка, который со временем — не весь, но в каких-то своих элементах — становится всеобщим достоянием». Это уже слово лингвиста.

М. В. Ломоносову, А. С. Пушкину и А. И. Солженицыну присущи и некоторые общие духовные и гражданские чувства и черты, различные по характеру выражения, самобытности и соответствующие стилю каждого.

Это — религиозность, которая у Ломоносова выражается прямо и непосредственно в его Одах, что отражает отношение к религии в его время, и более сдержанно и косвенно у Пушкина и Солженицына. Во времена Пушкина в его среде отношение к вере было скептическое, а в период основного творчества Солженицына религия подвергалась смертельному гонению.

Это — патриотизм при стойком свободомыслии и критике действительности и правительств (менее выраженный у Ломоносова).

Это — значимый и существенный в творчестве интерес к истории своей страны (доведенный до предела у Солженицына).

Это — стержень жизни, ее цель — творческое созидание, просвещение, борьба с косностью умов и постоянно ведущаяся, явно или сокрыто, реформа языка.

Все они — властители умов и философы выше философов.



ТОПОНИМИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ*

Г. П. СМОЛИЦКАЯ,
доктор филологических наук

Егорьевск (1778). Город в Московской области. В прошлом — это старинное село *Егорий Высокий* или *Егорье Высокое*. Первая часть названия по храму святого Егория (Георгия), вторая часть отражает или расположение села (на высоком, возвышенном месте), или величину церковной колокольни, превышающую окрестные храмы.

егорьевцы, егорьевец

егорьевский, -ая, -ое

Егорьевцы — коновалы. Это значит, что основным занятием жителей было лечение лошадей.

Ежовка. Эрзянский поселок в Мордовской республике, возникший в 20-х годах XX века. Название дано по фамилии перво-поселенцев *Ежовых* (Инжеватов. Топонимический словарь Мордовской АССР). Фамилия и прозвище *Еж*, *Ежов* были известны в Русском государстве в XVI—XVII веках (Веселовский. Ономастикон).

* Продолжение. Начало см.: Русская речь. 1994. №№ 4—6; 1995. №№ 1—3.

еж^овцы, еж^овец
еж^овский, -ая, -ое

Еж^овка (Ежка). Мокшанское село в Мордовской республике, известно в документах с 1698 года. Название антропонимического характера — по дохристианскому имени *Ежа*, мордвина (мокшанца), основателя и первопоселенца. Местные жители до сих пор называют село *Ежка*, а личное мужское имя *Ежка* сохранилось в мокшанской фамилии *Ежов* (Инжеватов. Указ. соч.).

еж^овцы, еж^овец
еж^овский, -ая, -ое

Екимовичи. Поселок в Смоленской области. В основе названия личное мужское имя *Яким* (из библейского *Иоаким*), а точнее, образованная от него фамилия *Екимов*. Патронимический суффикс *-ичи* свидетельствует о том, что село основали и в нем жили потомки *Екима* (*Екимова*). Форма топонима на *-ичи* особенно часто встречается в западном регионе Центральной России, граничащем с Белоруссией.

екимовичский, -ая, -ое, екимовический, -ая, -ое и екимовичиский, -ая, -ое.

Ела^тьма. Поселок в Рязанской области. Происхождение и значение топонима точно не известно. Судя по форманту *-ма*, оно относится к древнему типу гидронимов (как и соседняя *Лаишма*). Тип этих гидронимов совпадает в нижнем левобережном Поочье с ареалом археологической дьяковской культуры, относящейся к I тыс. до н. э.—перв. половине I тыс. н. э. Наличие прилагательного *елатьмский* дает некоторые основания для восстановления первоначальной формы *Елатом*, которая, к сожалению, не зафиксирована ни в одном источнике.

ел^атьминцы, ела^тьминец
ел^атьминский, -ая, -ое и ела^томский, -ая, -ое

Ела^нь-Кол^еновский (1939). Поселок в Воронежской области, в прошлом село *Елань-Колено*. Первая часть топонима — название реки *Елань*, на которой возникло село. В основе этого гидронима русское диалектное *елань*, имеющее много значений, в частности, «большая поляна среди леса», «ровное пастбище», «луг выше поймы реки» и др. Слово заимствовано из тюркских языков (ср. в башк., татар. *ялан* «поле, равнина, долина»). Вторая половина топонима *кол^еновский* образована от апеллятива *кол^ено* «резкий, крутой изгиб реки, лука». *Елань-Колено* — это село, стоящее на ровном открытом месте у крутого изгиба русла реки, что соответствует действительности: около селения река Елань делает резкий, крутой изгиб.

Поселок — один из центров народного художественного промысла — ковроткачества. В настоящее время на Елань-Коленовской ковровой фабрике изготавливают уникальные цветные пледы, дорожки, не-

большие коврики с характерным цветовым рисунком: чередование клеток и полос синего, зеленого, красного, желтого и черного цветов.

елáньколéновцы, елáньколéновец и елáнцы, елáнец

елáнь-колéновский, -ая, -ое

Елец (1146 *). Город в Липецкой области. Как считают исследователи, в основе топонима апеллятив *елец* «дубовый или еловый лесок, поросль, роща» (Никонов. Краткий топонимический словарь; Мурзаев. Словарь народных географических терминов). Э. М. Мурзаев допускает соотношение его с *еленец* «можжевелник», но в данном случае остается необъясненным словообразование топонима. Вероятность соотношения с *елец* «небольшой лесок, роща» вполне допустима, так как в условиях лесостепной местности, где находится Елец, наличие рощи, небольшого леса вполне могло мотивировать название селения, возникшего около него. Не исключена, однако, связь с *елец* — названием разных видов рыбы семейства карповых, уклейки, головля и др., а также переносного значения этого слова: «о ленивом, толстом человеке». Оно могло дать прозвище *Елец* (женск. *Ельца*) первопоселенцу или одному из владельцев селения. Апеллятив известен в топонимии Центральной России: *Елецкая Лозовка* в Воронежской обл., *Ельцы* — в Тверской.

— Елец известен как один из центров народного художественно-го промысла — кружевоплетения и как бальнеологический курорт.

ельчaне, ельчaнин, ельчaнка

елéцкий, -ая, -ое

Елецкое кружево — тонкое и изысканное кружево своеобразной техники плетения и рисунка, которое изготавливают только в Ельце с начала XIX века.

Елецкая (елецкое) — особенно мелодичная, но не грустная плясовая музыка для гармонии (в отличие от бряночки или страдания), под которую две девушки пляшут и одновременно поют частушки (рязанское Поочье).

Ельчaне — *сычужники*. Это значит, что жители Ельца любили употреблять в пищу сычуг — один из желудков жвачного животного, из которого они готовили различные блюда. *Елец всем ворам отец*. Речь идет о том, что Елец в XVI—XVII веках был местом прибежища государственных преступников, нарушивших любой закон и бежавших от преследования в эти места.

Ельня (1776). Город в Смоленской области. В основе топонима апеллятив *ельня* «место вырубki хвойного (елового) леса», «молодая поросль на месте вырубki хвойного леса» — это значит, что селение Ельня основано на месте вырубki хвойного леса или около такого леса.

елънинцы, елънинец

елънинский, -ая, -ое

Енакóво. Русское село в Мордовской республике. Известно с

1624 года как населенный пункт на Карасунской засечной черте юго-восточной границы Русского государства. Название антропонимического происхождения: по фамилии владельца — Бейтемира *Енакаева* (Инжеватов. Указ. соч.).

енаковский, *-ая, -ое*

Ендовищи. Село в Нижегородской области. Исходная основа этого топонима апеллятив *ендовище*, производный от *ендова*. Так в России, преимущественно в ее центральной части, называют природные объекты круглой формы. По мнению исследователей, слово пришло в русский язык из монгольских языков, где обозначало посуду с круглой основной частью: бокал, рюмку, чашу для питья. Слово *ендовище* довольно широко известно в русских диалектах в значении «впалая луговина, поляна, овраг». Вероятно, селение было основано около одного из таких природных объектов. Термин активен в топонимии, особенно в гидронимии как название мелких речек, ручьев и т. п.: *Ендова, Ендовищев, Ендовина, Ендовской* и др.

Епифань (1938). Город в Тульской области. Селение известно в памятниках письменности с 1571 года. В основе названия православное личное мужское имя *Епифан* (*Епифаний*), а суффикс принадлежности *-j-* дает *Епифань*, т. е. селение, принадлежащее Епифану (Епифанику). Имя широко известно на Руси, например Епифаний Премудрый (конец XV—XVI вв.), автор жития святого Стефана, епископа пермского. Находящиеся поблизости от Епифани гидронимы *Епифановка* и *Епифановской*, вероятно, вторичны.

епифанцы, епифанец

епифанский, *-ая, -ое*

Ерахтур. Поселок в Рязанской области на реке *Ерахтурке* (бывш. *Ерахтор*). Происхождение и значение названия не ясно. В его составе вычленяется элемент *-ур(-ор)*, известны в других гидронимах соседнего региона Поочья: реки *Венур, Винчур, Кочур, Муно́р, Шанто́р* и даже *Ур*. (Смолицкая. Гидронимия бассейна Оки).

Возможно, он имел значение «вода», «река» в неизвестном науке языке. В бассейне Мокши, а именно по соседству с ним находится река Ерахтур, ареал гидронимии этого типа совпадает с ареалом ранних мордовских могильников, датируемых первой половиной I тыс. н. э.

ерахтурцы, ерахтурец

ерахтурский, *-ая, -ое*

Ермишь. Поселок в Рязанской области на реке *Ермишь* (бывш. *Еремша*). Более раннее название — село *Ерма* (XIX в.). Есть все основания считать, что селение получило название по реке, на которой было основано. О первичности формы *Еремша* свидетельствуют производные — исток Еремшинский (а не Ермишинский или Ермишский). Гидроним относится к типу на *-ша*, где *-ша* предпо-

ложительно расширяется как «вода», «река» в неизвестном языке. Ареал этой гидронимии в нижнем правобережном Поочье соотносится с ареалом археологической городецкой культуры, которая датируется второй пол. I тыс. до н. э. — первой пол. I тыс. н. э. Предположение о том, что селение названо в память местного жителя — татарина Ермаша, который якобы со своим отрядом примкнул к Пугачеву (1774 г.), лишено всякого основания и в хронологическом, и в социальном отношении. Для властей Ермаш — враг, бунтовщик, а не лицо, в честь которого называют селения (ср. переименование в то время реки Яик в Урал). Названия с начальным *Ерм-* известны в среднем и нижнем Поочье, например, село *Ермо-Николаевка*, а также фамилия *Ермишин*.

ермишинцы, ермишинец

ермишинский, *-ая, -ое* и ермишский, *-ая, -ое*

Ермо́лино (1928). Рабочий поселок в Калужской области. В основе названия, вероятно, фамилия первопоселенца или одного из владельцев — *Ермолин*, образованная от христианского личного мужского имени *Ермола* (из *Ермолай*), что соответствует и словообразованию: наличие суффикса *-ин*. Исследования некоторых ученых (Баскаков Н. А. Русские фамилии тюркского происхождения. М., 1979) дают повод видеть в основе этой фамилии тюркское личное мужское имя *Ермола* (ср. фамилию *Ермолов*), в котором *Ер-* значит «мужчина, герой, мужественный» и *молла* (из *мулла*) — «ученый, священнослужитель, учитель закона».

ермолинцы, ермолинец

ермолинский, *-ая, -ое*

Ефре́мов (1672). Город в Тульской области. В основе названия, несомненно, фамилия *Ефремов* (от личного имени *Ефрем*), которая, видимо, принадлежала некоему Ефремову, главному лицу в укрепленном сторожевом пункте, получившем впоследствии название *Ефремов*.

ефремовцы, ефреовец, ефремовка

ефремовский, *-ая, -ое*

Жа́бино (Кеченьбие). Эрзянское село в Мордовской республике. Впервые упоминается в источниках 1624 года под названием *Кечушева*, позже — *Старая Кечушева*, *Жабина-Кечушева*. В основе названия *Жабино* мордовское личное мужское имя *Шаб* (из *Шабала*), до сих пор известное в виде фамилии *Шабалкин*. Второе название тоже антропонимического происхождения: мордовское имя *Кечуш* и *-буе/бие* из *пие* «мальчик, сын, мужчина» (Инжеватов. Указ. соч.).

Жа́ренки. Русское село в Мордовской республике, известно с 20-х годов XVII века под разными названиями: *Новые Выставки* («выставились из Старых Чукал на озерах из-за леса»); *Чукалы на Озерках*, *Жаренки* тож (Инжеватов. Указ. соч.). Все это дает основание считать, что селение возникло на месте лесной рощи — *жара*, *пожога* при

подсечно-огневым способе земледелия. Аналогичные топонимы известны в других местах Центральной России: *Гари, Жары* и др.

жаренский, -ая, -ое

Жары. Местность в междуречье Волги и Оки в Нижегородской области включает в свой состав деревни *Бурцево, Пурех, Юрино* и др. В основе топонима термин подсечно-огневого земледелия *жар* (*жары*) «пашня, подготовленная в результате сжигания кустарника, мелкого леса» и т. п. Вероятно, таким способом готовили пашню первопоселенцы данной местности. В прошлом это вотчина князей Пожарских и, как предполагают исследователи, ее название легло в основу этой фамилии. Близкое к этому мнение высказывал С. Б. Веселовский, возводя фамилию к топониму *Пожар* (Веселовский. Указ. соч.).

жарский, -ая, -ое

Жданковский. Поселок в Тульской области. Название, вероятно, пошло от оврага *Жданковского* (*Ждановского*), известного здесь в XVIII веке и являющегося производным от гидронима *Жданка* (Ср. название современной жел. дор. ст. *Жданка*). Овраг в прошлом мог быть притоком реки *Жданки* или ее высохшим руслом. Небольшие речки с названиями *Жданка, Ждановка* известны по всему бассейну реки Оки. Оно, несомненно, одного корня с *ждать* «ожидать, надеяться», т. е. *Жданка* — это река, утоляющая жажду, желание, подающая надежду; нужная, необходимая река, которую ждут. Аналогичные гидронимы в верхнем Поднепровье *Жадушка, Жадынь* квалифицируются как балтизмы (Топоров, Трубачев. Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья).

жданковцы, жданковец

жданковский, -ая, -ое

Железногорск (1962). Город в Курской области. Название отражает разработку и добычу железных руд Михайловского месторождения, около которого возник город. Вторая часть названия -горск — это одновременно и типичный «городской» суффикс при словах *гора* и *город*, «город у железной горы». Первоначальное название селения *Михайловский рудник*, где первая часть имеет антропонимическое происхождение.

железногорцы, железногорец

железногорский, -ая, -ое

Железнодорожный (1952). Город в Московской области. До 1939 года — это поселок *Обираловка*. Город преобразован из станции *Железнодорожная* Горьковского направления Московской железной дороги. В основе названия сочетание железная дорога + суффикс -н. Аналогичные названия поселков известны на всей территории России: в Калининградской, Иркутской, Челябинской областях, в республике Коми и др.

— Название станции *Обираловка* встречается в романе Льва Толстого «*Анна Каренина*», именно там Анна бросилась под поезд.

железнодоро́жники и железнодо́рожники

железнодоро́жничий, -ая, -ое и железнодо́рожный, -ая, -ое

Желнино. Дачный поселок в Нижегородской области. Селение известно с XVII века. Вероятно, в основе названия прозвище *Желна* или образованная от него фамилия *Желнин*. В основе антропонима, вероятно, апеллятив *желна* «дятел» в переносном значении «похожий на дятла» или «назойливый, как стук дятла». В современных диалектах этим словом обозначают дятла и иволгу. В письменном источнике, относящемся к XVII веку, в одном и том же тексте встретились *желна* и *иволга*: «ивылгы и жльны» (Картотека Древнерусского словаря). Фамилия *Желнин* известна с XVI века. Желнин Позняк Данилов, крестьянин, 1534 г., Переяславль (Веселовский. Указ. соч.).

желни́нский, -ая, -ое

Жердевка (1954). Город в Тамбовской области. Происхождение названия не известно. Возможно, оно имеет антропонимический характер — от прозвища *Жердь* или фамилии *Жердев*. В основе прозвища апеллятив *жердь* «длинный ствол срубленного дерева, очищенный от веток» или диалектное «длинная доска», употребленное в переносном значении «о высоком, худом человеке». Прозвище *Жердь* известно у русских с первой половины XVI века: кн. Иван Иванович Жердь Хованский (Веселовский. Указ. соч.).

же́рдевы, же́рдевец

же́рдевский, -ая, -ое

Жиздра (1777). Город в Калужской области. Название дано по реке *Жиздра*, левом притоке Оки. Как считают исследователи, это наиболее яркий балтизм в Поочье (Топоров. Балтийский элемент в гидронимии Поочья. II). Топоров возводит его к литовскому *žiezdras* «крупный песок, гравий». Ср. *žiegždrynas* «место, состоящее из крупного песка, гравия» (Невская. Балтийская географическая терминология), озеро Жиздра, река Жиздрас в Литве. Существует и народная этимология этого топонима, что косвенно свидетельствует о его нерусском (и неславянском) происхождении. Когда Жиздра была порубежной рекой Русского государства в XVI веке, на обоих ее берегах стояли сторожевые посты (сторожи), которые должны были предупреждать об опасности. Часто с одного берега на другой слышался вопрос: «Жив-здрав?», а в ответ: «Жив-здрав». Так и стала называться река — *Жиздра*.

жи́здринцы, жи́здринец

жи́здринский, -ая, -ое

Жирослево. Деревня в Костромской области. Как считают исследователи (Белоруссов Л. Н. Славонез. Жирослево. Твердислево. Русская речь. 1970. № 2), топоним представляет собой форму притяжательного прилагательного от личного мужского имени *Жирослав* (т. е.

славный, известный своим богатством). Первоначальная зафиксированная форма топонима — *Жирославлево*, затем *Жирослево*, которая испытала влияние форм на *-ево*, *-ово*. Современная форма топонима у местных жителей — *Жирка*. Предполагается, что этот топоним от древнего славянского имени появился здесь в результате новгородской колонизации, начавшейся в XI—XII веках, когда стали заселяться пустующие земли Заволочья, к востоку от Белого озера. Личное мужское имя *Жирослав* было известно у новгородцев. Один из его носителей стал основателем этого селения и дал ему свое имя.

Жостово. Рабочий поселок в Московской области. Название, видимо, антропонимического происхождения. В его основе фамилия (прозвище) *Жест* (*Жост*), известная у русских в XV веке (Веселовский. Указ. соч.). Само же прозвище могло образоваться от апеллятива *жестыль*, *жостыль* «красная смородина». *Жостово* — это селение, принадлежавшее некоему *Жосту* или *Жостову*.

— *Жостово* — один из центров народного художественного промысла — росписи железных лакированных подносов, известного здесь с начала XIX века.

жостовцы, жостовец

жостовский, *-ая*, *-ое*

Жостовский поднос — черный лакированный поднос преимущественно круглой формы с изображенным на нем ярким цветочным букетом.

Жуковка (1962). Город в Брянской области. В основе названия, видимо, фамилия или (прозвище) *Жук*, *Жуков*, данная по принципу «внешне похожий на жука» или общеизвестное «хитрый, как жук». Фамилия была широко известна в Русском государстве в XV—XVII веках: *Жук Широкий*, княжеский пристав в Ферапонтовом монастыре, 1534 г.; *Грибака Жуков*, вторая половина XV в., *Кашин* (Веселовский. Указ. соч.). Антропоним активен в топонимии Центральной России. Ср. *Жуковка* в Московской обл.

жуковцы, жуковец

жуковский, *-ая*, *-ое*

Жуковский (1947). Город в Московской области. В прошлом это дачный поселок *Отдых* (1935 г.), затем поселок *Стаханово* (1938 г.) в честь известного шахтера А. Г. Стаханова (Поспелов Е. М. Имена городов: вчера и сегодня (1917—1992), М., 1993). Название *Жуковский* дано в 1947 году в связи со 100-летием со дня рождения выдающегося русского ученого, основоположника аэродинамики, «отца русской авиации» академика Н. Е. Жуковского (1847—1921). См. *Жуковка*.

жуковцы, жуковец, жуковчанка

жуковский, *-ая*, *-ое*

Продолжение следует



СИБИРЬ

*Э. М. МУРЗАЕВ,
доктор географических наук*

Существует немало противоречивых этимологий названия *Сибирь*. Со временем менялось и представление о территориальной локализации. Первоначально так именовалась только северная приуральская часть Западно-Сибирской равнины. Затем под Сибирью понималась вся эта равнина, а позже и территория, лежащая на восток от Урала вплоть до берегов Тихого океана. Ныне стали выделять Дальний Восток в отдельную географическую единицу в составе двух краев — Хабаровского и Приморского, а также четырех областей — Амурской, Магаданской, Камчатской и Сахалинской. Обычной стала формула: Сибирь и Дальний Восток.

Сибирь лежит в стороне от центров средиземноморского куль-

турного круга, далеко от Передней и Средней Азии, от древних великих цивилизаций. Пути-дороги, соединявшие их с Европой, обходили Сибирь. Поэтому тщетно искать какие-либо сведения о ней в трудах греческих и римских писателей. Только в середине XIII века впервые упоминается это слово в монгольском историческом сочинении «Сокровенное сказание», но не как географическое название, а как этноним. В этом литературном памятнике можно прочитать, «что в год Зайца (т. е. в 1207 г.) войска Чингис-хана покорили все лесные народы, в том числе народ шибир, который обитал к северу от Алтая и к западу от Ангары» (Мельхеев М. Н. Географические названия Приенисейской Сибири. Иркутск, 1986. С. 144).

Персидский летописец Рашид-ад-Дин (1247—1318), хорошо знавший монгольскую историю, приводит географическое название в формах *Сибир ва Ибир, ас-Сибир*, чаще *Ибир-Сибир* (Бартольд В. В. Сочинения. Т. 3. М., 1965. С. 711), локализуя их на юге Западно-Сибирской равнины в бассейне Иртыша. По существу это первое письменное упоминание имени как топонима. В русских летописях, по свидетельству А. И. Попова, оно появляется только в 1406 году в связи с убийством золотоордынского хана Тохтамыша близ Тюмени (Попов А. И. Названия народов СССР. Введение в этнонимистику. Л., 1973). Между тем на так называемой Каталонской карте (1375) можно прочитать *Sibir*. Составители карты показали ее на месте Уральских гор в бассейне Камы. Об этом же пишет и И. С. Щукин (1856), который находит, что даже в середине XVI века под Сибирью понималось Пермское Приуралье. Возникает вопрос: каким образом интересующее нас имя попало в Западную Европу раньше, чем оно стало известно на Руси? Ответ есть у В. И. Сергеева: «Наиболее раннее упоминание о Сибири находится в письме из татарского лагеря близ Баскардии [«страна баскардов» — это «страна башкир»; в арабских источниках — *baṣqard, badžqart*; в венгерских хрониках — *baŕqard, baŕqart, baŕqatur*. См. Баскаков Н. А. О происхождении этнонима Башкир//Этническая ономастика. М., 1984. С. 13] в год господень 1320 венгерского монаха проповедника брата Иоганки. Касаясь миссионерских возможностей в стране баскардов, он сообщает генералу ордена миноритов: когда мы еще были в Баскардии, пришел некий посол из страны Сибири (*Sibir*), которая окружена северным морем» (Сергеев В. И. Происхождение и эволюция понятия «Сибирь»//Актуальные вопросы истории СССР. М., 1976. С. 3—17). Оказывается, что еще в 1386 году пленный баварский солдат И. Шильтбергер побывал в городе Сибирь и стране Сибисибур, сопредельной с Булгарией.

В 1554—1556 годах царь Иван Васильевич Грозный уже выступает как «царь Обдорский, Кондинский и всех Сибирских земель, повелитель северные страны» (Флоринский В. М. Заметки о происхождении слова «Сибирь»//Изв. Томского университета. Кн. I.

Отд. 2, 1889. С. 3—14). В грамоте 1574 года уральским промышленником Строгановым упоминается Сибирская у крайна, южная пограничная полоса с ногаями по среднему течению Тобола выше Туры, а во «Всеобщей космографии» Себастьяна Мюнстера (1544) указана Sybir западнее Оби и Иртыша.

«Это название,— пишет Н. И. Михайлов,— распространилось, безусловно, лишь после начала сношений России с народами Западной Сибири. Русские же в процессе расширения своих владений в Северной Азии придали ему то географическое содержание, которое вкладывается в это слово и в настоящее время» (Михайлов Н. И. К истории появления и распространения названия «Сибирь» // Ученые зап. МГУ. 1954. Вып. 170. С. 113).

Известный русский историк В. Н. Татищев, сам работавший в Сибири, в 1736 году написал «Общее географическое описание всея Сибири», первую главу которой назвал «О имяни», где попытался объяснить происхождение этого ныне во всем мире известного топонима: «Имя же Сибирь есть ис татарского языка Сенбирь испорченного, которое значит ты первый или главный. Сие прежде было токмо имя оного главного татарского города на Иртыше. В нем же ханы или, как мы зовем, цари татарские жили. Оной город стоял ниже Тобольска 30 верст на той же правой стороне» (Татищев В. Н. Избранные работы по географии России. М., 1950. С. 248). Этот город Сенбирь, Сибирь или Искер (у сибирских татар Кашлык) еще существовал во время похода Ермака в 1582 г.

Любопытно свидетельство современника Ермака — некоего Саввы Есипова: Сибирь это укрепленный «царствующий град», где протекает одноименная речка. По ним «вся страна Сибирская от Верхнетурского Камени и до Лены и до Даурские земли наречена бысть Сибирью» (Флоринский. Указ. соч. С. 196).

Упомянем еще несколько версий объяснений топонима *Сибирь*, которые ныне представляют лишь исторический интерес и не могут быть приняты современной наукой. Некоторые ученые видели в племени *сибир/себер* славян и сравнивали с этнонимами *северяне*, *севери*, *сербы*. Другие исходили из лексики тюркских языков. Так, И. С. Щукин писал: «У тюркских обитателей России слово Ибир — Сибир значит кое-как, у якутов, говорящих тюркским наречием, значит оно мало-мало, чуть-чуть» (Щукин И. С. Географическая и этнографическая терминология Восточной Азии // Вестник Русского географического общества. 1856. Ч. 17). Не лучше и предложение видеть в этом двойном названии монгольское *ибыр-ябыр* «болтовня» (в современных словарях отсутствует). Были также высказаны предположения видеть в *Сибири* тюркские слова *сакмак* «сбиться с пути» или *сибирмак* «очищать». Основанием для такого суждения оказался глагол *сыбыр/сibir* «мести, выметать». Но какое отношение имеет он к географическому названию?

Другое решение исходит из китайского «западное захолустье». Китайцы транскрибируют слово *Сибирь* как *Сиболия* четырьмя иероглифами, из них первый действительно обозначает *си* «запад».

Была попытка связать *Сибирь* с именем мифической горы *Сумбырь* (правильнее — *Сумбер-ул* у монголов) — золотой горы буддийской космогонии, находящейся в центре вселенной под Полярной звездой, или с именем сказочной собаки *Сибэр*, вышедшей из глубин Байкала, а также с монгольским словом *субр* «горный волк». Среди этих необоснованных гипотез не забыты и этнонимы *самгод* и *кимеры* (*киммерийцы*). К. В. Вяткина доказывала этимологию *Сибири* — *север*, *северяне*, исходя из позиции четырехэлементного, в те годы модного, анализа академика Н. Я. Марра (Вяткина К. В. К вопросу о термине «Сибирь» // Советская этнография. 1935. № 1). Версия *Сибирь* — *сивер* — *север* прозвучала и у Н. И. Михайлова, который хорошо показал эволюцию этого географического понятия, используя большое количество источников (Михайлов. Указ. соч.).

Наиболее привлекательной остается этимология, связывающая собственно *Сибирь* с нарицательным *шибирь/шибирь*.

В тюркских, монгольских и иранских языках присутствует географический термин *шибер*, *шибир*, *шивир* «илистая заболоченная почва, лесное болото, грязная земля, кустарниковые заросли по берегам рек, островки густых зарослей, заболоченная чаща». Это слово присутствует во многих географических названиях: населенные пункты *Мухоршибир*, *Шабарта*, *Шэбэртуй*, *Хара-Шибирь* в Бурятии, перевал *Шибергу* в Гиндукуше, озеро *Шабартэ* в Восточной Монголии и другие. Еще в прошлом веке ученые обратили внимание на топонимическую продуктивность термина и сопоставили с ним название *Сибирь*.

В статье И. С. Щукина находим такие слова: «известный в Сибири монголист Игумнов производил *Сибирь* от монгольского слова *шибирь*, что значит мокрое место, поросшее березняком» (Щукин. Указ. соч. С. 265).

Академик В. В. Бартольд заметил как бы вскользь: «Термин Ибир-Шибир (отсюда название Сибири) встречается в китайской истории». Известный тюрколог К. К. Юдахин (1965, с. 906 и 916) приводит киргизское нарицательное *шибер* «всякая густая высокая трава» и собственное название *Шибер/Шыбыр* «Сибирь, как место каторжных работ и ссылки» (Бартольд В. В. Сочинения. М., 1963. Т. 2. Ч. 1).

В наше время защитником такой версии выступил узбекский ученый С. К. Караев, который составил длинный топонимический ряд из названий поселений, рек, озер, урочищ на больших пространствах Сибири, Казахстана, Средней Азии, Афганистана и утверждал, что «*Сибирь* происходит от слова *сибир* (*шибер*, *шибир*), т. е. грязь, глина, болото». Значит, *Сибирь* — «глинистое место, страна

болот» (Караев С. К. К этимологии топонимов «Шибер» и «Сибирь»//Общественные науки в Узбекистане. Ташкент, 1966. № 7). Эту точку зрения поддержал петербургский ономаст А. И. Попов: «Слово, лежащее в основе географического названия Сибирь, есть монгольское *шибир* „низина, кусты, лес, чаща, мочаг (...)”. В сущности монгольский географический термин *шибир* (с мягким *ш*) означал нечто среднее между тундрой и тайгой» (Попов. Указ. соч.). Подобная интерпретация топонима, считает автор цитаты, наиболее состоятельно изложена С. К. Караевым.

Против сопоставления *шибир* — *Сибирь* категорически выступила А. Г. Митрошкина. По ее суждению нарицательное *шибир* в географических названиях присутствует обычно во второй позиции: *Улан-Шибирь*, либо в суффиксальной форме *Шэбэртэ*. Кроме того, по ее мнению, *ш* не может перейти в *с*, тогда как обратное явление *с* → *ш* возможно. И все же она считает *Сибирь* монгольским словом (Митрошкина А. Г. Топоним «Сибирь»//Труды Иркутского университета. Серия языковедение. 1969. № 2). Монгольские топонимы обычны в Тобольском районе: *Бицин-Тура*, *Кошутская*, *Чангула* и другие. Восхваляющие эпитеты — характерная черта монгольской топонимии. Бурятское *сэбэр* «прекрасный, красивый». Возможно, что в прошлом город Сибирь имел полную форму *Сэбэр-Тура* «красивый город», позже второе слово отпало, осталось усеченное название.

Однако некоторые современные авторы все же в топониме *Сибирь* видят этнонимическое начало. Кочевники сибир/сыбыр, видимо, близкие к ханты, некогда жившие на юге Западной Сибири и ушедшие на север под натиском тюркских племен, объединились в Сибирское ханство (сыбыр) с центром Себер(Север)Сибир (Искер, Кашлык), покоренного дружиной Ермака в XVI веке.

Решительным защитником этнонимического происхождения выступила З. Я. Бояршинова. Она считает топоним *Сибирь* местным, не русским и не монгольским: «Накопленный археологический, этнографический, фольклорный материалы и письменные исторические источники позволяют видеть происхождение этого термина от названия одной из этнических групп, населявших с конца первого тысячелетия до н. э. территорию лесостепной полосы Западной Сибири. Такой этнической группой, носившей название „Сипыр“ (Сёвыр, Сабыр), были предки угров, вступившие в длительное и сложное взаимодействие с другими этническими элементами Западной Сибири, Казахстана и Средней Азии, в том числе и с тюркскими» (Бояршинова З. Я. О происхождении и значении слова «Сибирь»//Научные доклады высшей школы. Исторические науки. 1959. № 3).

В Словаре М. Фасмера указан тобольско-татарский топоним *Seber* — название старого поселения и упоминается этноним гуннов

сабеиресис, где, однако, нет указания на угорский источник (Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М., 1971). Но о нем пишет М. Н. Мельхеев: «наиболее вероятным является предположение, что название „Сибирь“ связано с именем племени, принадлежащего к финно-угорским народам. В преданиях тобольских татар говорится о народе *сыбыр*, занимавшем места по среднему течению Иртыша, раньше их, татар» (Мельхеев. Указ. соч. С. 144).

Возникает естественный вопрос: какова этимология этнонима *сыбыр*, *сибир*, *себер*? Ответа на него нет. Объяснения смысла племенных названий гораздо более трудны, чем географических, в которых часто находят те или иные природные реалии, помогающие их расшифровке. С осторожностью можно предположить, что народ *сыбыр*, живший на плоской, сильно увлажненной низменности бассейна Оби, получил свое имя от термина *шибир*. Другими словами, *сыбыр* — жители местности, изобилующей заболоченными кустарниковыми чащами, сырыми умеренными зарослями. Известно, что обширные площади Западной Сибири покрыты болотами. Таким образом, *сыбыр* — жители земель с преобладанием болотного ландшафта, другими словами — *болотники*. Слово *болото* оказалось весьма продуктивным в ономастике, образуя не только географические названия, но и личные имена и этнонимы.

Эту мысль в краткой форме высказал С. К. Караев: «Что же касается народа *сибир*, то он мог получить свое имя по месту жительства, как было в истории многих народов» (Караев. Указ. соч. С. 75). Приведу несколько примеров, показывающих правомерность такого положения: славянские племена *дреговичи* — жители *болот* (блр., *дрэзва*, укр. *дряговина* — «болото»), *поляне* как производное от *поля* (как и *поляк* и *Польша*), *полехи*, *полешане*, *полещуки* — жители Полесья, *лужичане* тоже жители болот, *гурали* — горцы, обитатели Карпат в Польше, *древляне* (*древлене*) — лесные люди, о которых летопись сообщает «древляне, зане седоша в лесах». В. В. Иванов и В. Н. Топоров пишут о мотивировке таких этнонимов топографическими характеристиками — правильнее сказать — географическими (Иванов В. В., Топоров В. Н. О древних славянских этнонимах. Основные проблемы и перспективы // Славянские древности. Этногенез. Материальная культура Древней Руси. Киев, 1980. С. 11—45).

Поэтому можно сделать вывод об отсутствии противопоставления в трактовке происхождения известнейшего топонима *Сибирь*, в котором отразился географический термин *шибир* и одновременно этноним *сибир/сыбыр*.

Остается выяснить вопрос о происхождении раннего двойного географического названия *Ибир Сибир*, *Сибир ва Ибир*. На него вполне удовлетворительно ответил В. И. Сергеев. По его суждению, это имя первоначально появляется на южной границе тайги, а затем

распространяется на степь и лесостепь Западной Сибири вне тайги. В *ибир*и он видит монгольское прилагательное «передний», предлог «перед», существительное «юг». Таким образом, *Ибир-Шибир* «перед лесной чащей», другими словами, область, лежащая на юге от тайги (Сергеев. Указ. соч.). Действительно, в бурятском языке *убэр* «южный склон горы, передняя, южная сторона горизонта», в современном халха-монгольском: *᠔ᠪᠣᠷ* «юг, южная, передняя сторона». В Читинской области отмечено название *Убэр-Шэбэр*, что полностью корреспондирует древнюю *Ибир-Сибир*.

Любопытно, что в Смоленской области есть местность *Сибирь*. Сюда ссылали провинившихся крепостных из поместий графов Шереметевых, «причем одна из деревень для ссыльных получила даже официальное название Сибирь» (Попов А. И. Основные принципы топонимического исследования//Принципы топонимики. М., 1964). По свидетельству академика А. Н. Самойловича (1910), в языке жителей Средней Азии нарицательное слово *сибирь* означало «место ссылки», а собственное *Сибирь* у туркмен почему-то ассоциировалось с полуостровом Мангышлак (Самойлович А. Н. Два отрывка из Хорезмнамэ//Западно-восточное отд. Русского археологического общества. СПб., 1910. Т. 19).

В современной топонимии России первоначальное *Сибирь* дало более десяти производных: *Западная, Средняя, Восточная, Южная Сибирь*, город *Новосибирск*, населенные места *Сибирь, Сибирский, Сибирское, Сибиряк* (повторяются по несколько раз). Кроме того: *Сибирские Увалы, Западно-Сибирская равнина (низменность), Северо-Сибирская низменность, Среднесибирское плоскогорье*.



Художественное выражение
закона сопричастия
в обрядах и сказках,
или
Кто летел «по поднебезью»

*Т. В. ЗУЕВА,
кандидат филологических наук*

Годовой цикл славянских аграрных обрядов и жизненный путь славянина, отмеченный обрядами личного значения, выражали единое изначально мифологическое представление о бесконечной, закономерно повторяющейся и обновляющейся жизни.

Мифология, как заметил Н. И. Толстой, это «не слово, не искусство, а скорее мироощущение и миропонимание и связанное с ним действие» (Живая старина. 1994. № 1. С. 3). О «стихийно-множественной семантике мифа» писал А. Ф. Лосев. Приводя примеры из античной мифологии, он подчёркивал первобытную нерасчленённость индивидуума, общества и природы. Французский психолог Л. Леви-Брюль видел в этом свойстве пралогического

мышления древних проявление их естественного основного закона, который он назвал законом партиципации, то есть сопричастия (Леви-Брюль Л. Первобытное мышление. М., 1930).

Следы мифологического мироощущения древних славян сохранила наиболее консервативная область фольклора — обряды и их поэзия. Мистическое единство с окружающим порождало идею о происхождении человека от всего сущего. В Смоленской области на Петров день пели: «А я роду,/А я роду хорошего,/А я роду./А я батьки,/А я батьки богатого,/А я батьки./А мой батька,/А мой батька — ясен месяц,/А мой батька./И моя matka,/Моя matka — красное солнце,/Моя matka./И мои братья,/Мои братья — соловьи в лесе,/Мои братья./И мои сестры,/Мои сестры — в жите перепёлки,/Мои сестры...» (Поэзия крестьянских праздников. Л., 1970. № 682).

Умирая, человек знал, что возвращается к «своему роду», то есть сливается с миром. В украинской купальской песне Гандзя понесла еду братьям в поле, но её полонили «два невірньоки» (нечистые). Девушка бросилась «в синее море», но прежде произнесла запрет, чтобы не брали в море воды, не собирали в огороде травы, не ломали в лугах калины, не рвали под лесом тёрён, не заламывали в лесу берёзы, не сбивали понизу росы, —

«Бо в морі вода — Гандзина врода,
В городі злля — Гандзине тіло,
В лузі калина — Гандзине личко,
Під лісом тёрён — Гандзине очко,
В лісі берёза — Гандзина коса,
При долі роса — Гандзина краса».

(Ігри та пісні: Весняно-літня поезія трудового року. Київ, 1963. С. 390).

С партиципацией и её сакрально-поэтическим отражением в древнеславянском фольклоре мы связываем происхождение художественного приёма перевоплощения героев-оборотней волшебных сказок.

Превращения девушки-утопленницы известны как сказочный мотив. В Черниговской губернии была записана сказка на сюжет «подменённая царевна». Цыганка утопила царевну, переделалась в её платье, стала женой царевича. Вот однажды захотелось ему рыбы. «Принесли риби, дак срібна лусинка, а золота лусинка, срібна перинка, золота перинка. Циганка вже й догадалась, що і то панночка. От і говорить: «Не їймо: помремо, як сю рибу будем їсти!» От і викинули тую рибу. Як виріс сад, так такий сад, такий сад! Срібний листок, золотий листок, срібне яблучко, золоте яблучко. Дак циганка говорить, що «не їмє сих яблук: помремо!» Да й вирубали той сад». Но превращения на этом не прекратились (Украинские народные предания. М., 1847. Кн. 1. С. 73).

Мифологическая песня «растворила» утопленницу в природе и тем самым замкнула круг её бессмертия согласно представлениям древних. В отличие от этого, волшебная сказка выстроила превращения девушки в последовательную цепочку, которая замкнулась лишь тогда, когда персонаж принял свой первоначальный облик: царевна = рыба с золотыми и серебряными чешуйками и перьями = яблоня с золотыми и серебряными листьями и плодами = гребешок из яблони = снова царевна. Настоящая невеста царевича также бессмертна, следовательно, её невозможно подменить никем другим. Как всегда, сказка утверждает справедливость.

Свадебный двойник невесты — «красота» (ветка сосны или берёзы, «гільце»), нарядно украшенная и поставленная на столе, являлась как бы из иного мира и олицетворяла собой, можно сказать, всю растительную природу:

Ой де ж ти, сосно, ізроста!
Тихим Дунаем приплила,
[В Марусі] на столі зацвіла.
Гільце-дереце із ялини,
Та й з червоної калини,
Та й з зелененьких вишеньок,
Та й з червоненьких ягідок,
Та й з зеленого тернику,
Та й з хрещатого барвінку.

(Весільні пісні: У 2-х кн. Київ, 1982. Кн. 1. № 89).

В свадебных песнях героиня до замужества предстаёт, по замечанию В. Н. Добровольского, «вольною амазонкой»: «рышет по лугам и лесам уткою или кунницей» (Смоленский этнографический сборник. СПб., 1894. Ч. II. № 362). В севернорусских причитаниях невеста использует свой дар оборотничества, чтобы спастись от жениха — «чуж-чуженина»: «Да я пойду, да молодёхонька, / Да во леса да те дремуцие, / Да во болота зыбуцие, / Да обернусь я, молодёхонька, / Уж я уткой-то серою... / Да я пойду, да молодёхонька, / Да во моря те глубокие, / Да во реки те широкие, / Да обернусь, молодёхонька, / Уж я рыбою свежою...» (Русская свадьба: Свад. обряд на Верхней и Средней Кокшеньге и на Уфтюге. М., 1985. № 134).

То же происходит и с её вторым «я» — «волей» («красотой»). Приведём наблюдения Н. И. Колпаковой: «Воля» и «красота» могут принимать в свадебной лирике различные антропоморфные и зооморфные обличья. Это образ-оборотень: «волю» и «красоту» можно нарисовать, сняв с них портрет, как с человека; можно подстрелить на море или в лесу, как птицу, но можно и положить в избе на полку, украсить жемчугом, обвить золотом и серебром. Особенно разнообразны перевоплощения воли-оборотня в бане: она кидается на стены и потолок белой лебедью, превращается в белый пар, в корыте оказывается утушкой, оборачивается то веником, то мылом, то

огнём, пока, наконец, не превращается в птицу и не вылетает из окна или двери бани на улицу» (Лирика русской свадьбы. Л., 1973. С. 259—260).

Волшебная сказка также часто использует приём перевоплощения во имя спасения героя. Некоторые тексты указывают на связь этого с обрядовым фольклором, Например:

«*Прайшли трошку — яна абярнулася мясячкам і давай уцякаць. Сучкін сын Залатыя пугавицы абярнуся зорачкай і дагнаў яе. Тады яна абярнулася либёдкай і стала уцякаць, а ён абярнуся сокалам і дагнаў яе. Тады яна абярнулася рысцою і набегла уцякаць, а ён абярнуся шэрым воукам і узноў яе не пусціў*» (Чарадзейныя казкі. Мінск, 1973. Ч. 1. № 4).

Месяц и звёздочка, сокол и лебедь, соловей и кукушка, волк и козочка (рысь) и проч. — образы народной свадебной поэзии, символизирующие жениха и невесту. Они говорят о неизбежной утрате невестой ее «вольной волюшки».

С партиципацией мы связываем и так называемые «тёмные места» обрядовых песен. Сила традиции сохраняет те образы, которые для современного человека уже лишены какого бы то ни было смысла, в том числе и поэтического.

У восточных славян в изготовлении свадебного венка или дерева принимает участие загадочное существо: «*Да й ляцеу гарнастай чэраз сад, / Раніу пер'ейка на увесь сад — у! / А вы, дзевачкі, збірайце перачкі, / Віце дзевачцы велечка — у!...*» (Вяселле: Песні: У 6-ці кн. Мінск, 1981. Кн. 2. № 554).

Известны аналогичные украинские тексты (см.: Весільні пісні: У 2-х кн. Кн. 1. № 91, 92). Они вызвали недоумение у Б. Д. Гринченко при толковании второго значения слова *горностай*: «2) Род птицы? ... Вернее, однако, что здесь просто забыто значение слова *горностай*, и в песне оно подставлено вместо какого-либо иного, но схожего слова, названия птицы» (Словарь украинского языка. Киев, 1907. Т. 1. С. 313).

Действительно, в песнях встречается птица:

Легив соловейко
Через сад,
Та погубив пир'ечко
На весь сад...

(Весільні пісні. Кн. 1. № 93).

Однако другие тексты содержат информацию о связи *горностая* с водой: он летит через замёрзший пруд, хочет напиться —

Й ударився крильцями й у воду,
Посипалось біле пір'я й по льоду.
Ви, сватове, біле пір'я зберіте,
Василькові гілечко вберіте.

(Там же. Кн. 2. № 113).

А в варианте из собрания П. В. Киреевского

Белая рыба играла,
По берегу перья слала...

(Песни, собранные П. В. Киреевским. Новая серия. Вып. 1: Песни обрядовые. М., 1911. №355).

Этот загадочный образ, по-видимому, связан с солнцем, так как его перья сияют:

Золоті пір'ячка попускав...

(Воропай О. Звичаї нашого народу: Етнографічний нарис. Київ, 1991. Т. 2. С. 304).

Связан он и с растительностью:

Ляцела дзерауц^о цераз наша сьляцо...

(Купальскія і пятроўскаяя песні. Мінск, 1985. № 679).

Ляцеу^у вінаград цераз сад,

Рассыпау пер'ейка на увесь сад...

(Вяселле: Песні. Кн. 2. № 553).

Но вместе с тем подчёркивается, что это зверь:

А летів горностаї через став.

Пускае шерстячко [вар. «щитечко»] на увесь став...

(Українські народні пісні в записях Зоріана Доленги-Ходаковського. Київ, 1974. С. 180).

В свадебных песнях *горностаем* называют также жениха: «Гарнастай, гарнастаюшка, / Гарнастай свет, Николаюшка свет...» (Смоленский этнографический сборник. № 645).

Итак, реконструируется мифологический персонаж: зверь = птица = рыба = растение = человек, да к тому же с намёком на его солнечную природу. Из его чудесных перьев и готовился свадебный венок, сакральный атрибут обряда. Можно предположить, что этот образ-оборотень первоначально не имел специального наименования. Прикреплённое к нему позднее слово *горностаї* — не славянского происхождения.

О. Н. Трубочёв пришёл к выводу о «древней безымянности божеств, духов», что было связано с периодом их «безмолвного почитания», более древним, нежели период ритуального восхваления (Трубочёв О. Н. Этногенез и культура древнейших славян: Лингвистические исследования. М., 1991. С. 183—185).

Свадебные венки восточных славян иногда действительно изготавливались из птичьих перьев. На Украине (Волянь, Полесье, Галицкое Подолье, Киевщина) существовала традиция окрашивать эти перья в зелёный цвет (Воропай О. Звичаї нашого народу. С. 304—305). Таким образом их, возможно, уподобляли растениям. Вместе с тем в белорусской песне венку из руты противопоставлен как более ценный «веночек перовый» (Вяселле: Песні. Кн. 2. № 712).

Свадебный венок изображался в песнях «золотым» (Песни, со-

бранные П. В. Киреевским. № 173), а иногда подчёркивалось его сияние: «Ой, чи вогонь, чи полумен палае,/Чи на Марусі золотий вінець сяе?» (Воропай О. Звичаї нашого народу. С. 303).

Охвачен сиянием и венки из руты: «Ой не вогонь то горить,/Не полум'я палае,/То на нашій Наталці/Рутяний вінок сяе» (Пісні Явдохи Зуїхи. Київ, 1965. С. 148).

В троицкой песне золотым венком увенчана героиня обряда — берёзка:

Александровска берёза, берёза,
Среди кружочка стояла, стояла,
Она листьями шумела, шумела,
Золотым венком веяла, веяла,
Она кольцами брякала, брякала,
Шёлковым платком махала, махала,
В каравод девок гаркала, гаркала...

(Календарно-обрядовая поэзия сибиряков. Новосибирск, 1981. № 426).

Головной убор русской невесты («коруна») представлял собой «плотный обод с позументом, над которым выступал ажурный венки, украшенный жемчугом, перламутром, бисером, со вставками фольги, стекла, а иногда и нашитыми брошками» (Русский народный костюм. Л., 1984. С. 27). В середине XVII века дочери киевских богачей также носили на голове что-то вроде короны: обруч, покрытый дорогим бархатом, шитый золотом, украшенный жемчугом и самоцветами (Воропай О. Звичаї нашого народу. С. 306). Такие венки-диадемы переливались блеском золота, серебра, драгоценных камней и проч., как бы материализуя идею сияния обрядового венка светом солнца, месяца, звёзд, зари.

В Закарпатской области женский головной убор «стрічка» вышивался гладью разноцветными пёрышками, которые переливались разными оттенками (Захарчук-Чугай Р. В. Украинская народная вышивка. Киев, 1988. С. 179). А в Словакии обрученный парень носил украшение в виде шляпного пера (Комаровский Ян. Традиционная свадьба у славян. Братислава, 1976. С. 305).

Светоносное перо известно по сказке «Конёк-Горбунок»: «Как приходит тёмная ночь, все конюхи зажигают сальные свечи, в конюшенки идут новы́. Ванюшка огня не берёт, свету не имеет; взойдёт в конюшенку, вынет из карману жар-птицы перо — вся конюшенка в огне горит. Коней напоит, накормит, выгладит и почистит» (Сказки и предания Самарского края. СПб., 1884. № 60).

Знает сказка и превращение чудесного пёрышка в царевича («Финист-ясный сокол»). Наконец, отметим также и то, что в сказке жених-оборотень мог быть «белым горностаем»: «...перад царом стаяу добрым моладцам, па двару бег чорным собалем, пад вароты лез белым гарнастаем, па полю бег шэрым зайцам» (Чарадзейныя казкі. Мінск, 1978. Ч. 2. № 93).

По мере угасания магического значения обрядовых текстов их «тёмные места» подвергались комическому переосмыслению. Так рождались небылицы-перевёртыши. Например: «Сказали, братци, — по поднебезью медведь летит,/Уж он ножками, лапками помахиват,/Он коротеньким хвостиком паправливат...» (Беломорские былины, записанные А. Марковым. М., 1901. № 88).

Похожий текст, опубликованный А. М. Астаховой, иногда имел припев «Ай, люли-люли», что уже прямо выдаёт его происхождение из обрядового фольклора (Былины Севера: В 2 т. М.-Л., 1951. Т. 2. № 215).

Падение культа некогда священного образа приводило к его пародированию и в самих обрядах. На Ивана Купалу пели:

А летіло помело
Через наше село...

(Ігри та пісні: Весняно-літня поезія трудового року. С. 434).

Девушки бегали по улице, размахивая метлой, насаженной на длинную палку, и дразнили хлопцев насмешливыми песнями. Хлопцы нападали на них, отнимали палку с метлой, ломали на куски и разбрасывали по улице (Воропай О. Звичаї нашого народу. С. 187). Обряд выродился в забавы молодёжи, которые откровенно сохраняли эротическую метафоричность и сопровождались любовным заигрыванием.

ДЕЛО ТАБАК

Б. Л. БОГОРОДСКИЙ, И. С. ГУЛЯКОВА, В. М. МОКИЕНКО

В архиве покойного проф. Б. Л. Богородского сохранился интересный материал к истории выражения *дело табак*. Этот очерк известный специалист по морской лексике намеревался опубликовать в журнале «Русская речь». Дополнив и доработав заметки петербургского ученого, его коллеги предлагают очерк читателям.

Выражение *дело табак* имеет просторечный характер и не принадлежит к литературно-книжным. Слово *табак* не фольклорное, не диалектное, и весь оборот также не носит соответствующего стилистического отпечатка. Не относится *дело табак* и к арготизмам, ибо это выражение никогда не было достоянием какой-либо обособленной социальной группы с условным языком. Остается искать источник этого фразеологизма именно в среде профессиональных словосочетаний. Профессий, однако, много, а некоторые из них уже давно потеряли актуальность. Это произошло и с исходным образом фразеологизма *дело табак*.

Для того чтобы установить, в языке какой социальной среды и при каких историко-культурных условиях он образовался, надо привлечь словосочетание другой синтаксической структуры, но с тем же стержневым компонентом — *под табак*. Его нет в академических словарях, а у В. И. Даля оно характеризуется как волжское и имеет иной вид — *по табак*, обозначая «шестом достал дна, вмеру». О нем, однако, называя его «фигуральным», т. е. переносным и образным, пишет в 1914 году автор «Словаря волжских судовых терминов» С. П. Неустроев: «Когда бурлаки шли бечевой по затопленной сакме (береговой тропе), то привязывали табак под мышки. И когда становилось настолько глубоко, что грозило подмочить табак, то они кричали коренному, что вода подходит „под табак“, тогда переходили на судно и шли на шестах или завозом, т. е. тянулись посредством снасти, идущей от якоря, заведенного вперед судна». В словосочетании *под табак* слово *табак* сохраняет свое основное значение: слышится сильное беспокойство бурлака — ведь купить табак было дорого, а часто — и негде. Кроме того, — и это едва ли не было самым главным, — приходилось изменять способ передвижения судна: надо было либо „идти на шестах“ или „идти завозом“, т. е. заводить якорь с канатом вперед судна для тяги.

Такое объяснение было известно еще до публикации словаря

С. П. Неустроева. Его, например, излагает автор анонимной заметки в «Кубанских областных ведомостях» 1899 года и цитирует П. Тиханов в 1904 году в своей статье «Брянский говор. Заметки из области русской этнологии»: «На Волге мерою глубины иногда служит выражение „под табак“... От сквера (у Волги, в Царицыне) — спускаются к пристаням различных обществ широкие деревянные лестницы.— А что, тут глубоко? — спрашиваю я у мимо проходившего матроса.— Да ничего, *под табак!* — ответил он. „*Под табак*“ в переводе на общерусский язык означает: глубоко. Термин этот получил свое начало среди рыбаков или былых бурлаков Волги, а он довольно образный. Когда им приходилось идти в воду, то они обыкновенно все свои капиталы и табак, то есть все, что у них было драгоценного, подвязывали под мышки, чтобы не замочить. И вот, если вода начинала угрожать табаку, что было, конечно, очень печально для его владельца, то для бурлака это было уже глубоко. Оттуда и пошел этот термин» (Сб. ОРЯС. СПб., 1904. Т. 76. № 4).

От бурлаков это выражение, видимо, перешло к судоводителям. Оно стало употребляться при измерении глубины фарватера особенно там, где была опасность посадить судно на мель. Когда *наметка* (шест, которым измеряли глубину реки) достигала дна, и горизонт воды стоял выше ее цифровых обозначений, матрос-наметчик кричал лощману: «*Под табак!*» Если глубина уменьшалась, счет футов шел соответственно цифровым показателям: «*Под табак! Пять! Четыре!*» Именно в этом значении оборот отражен языком художественной литературы: «Шесть, ше-е-сть с половиной. *Под табак!* — кричал на носу водолив» (Куприн. Ученик).

Никаких иных, кроме профессиональных, значений оборот *под табак* не получил. Едва ли можно сказать, что он приобрел широкое распространение — за пределы профессионального употребления и волжской зоны он так и не вышел. Любопытно, однако, что первичное, основное значение слова *табак* здесь ощутительнее выступало в языке бурлаков и в меньшей степени в языке судоводителей. Эмоциональная окраска выражения также ярче сияла именно в речи бурлаков. У судоводителей ее почти не ощущается, если не считать, что *под табак* у них означало отсутствие опасности сесть на мель.

Как видим, материалы бурлацкой профессиональной речи отражают сочетание со словом табак лишь в одной синтаксической форме — *под табак*. Выражения *дело табак* в таком профессиональном употреблении и в Волжском регионе не зафиксировано. Однако большинство историков русского языка и популяризаторов прямо связывают второй фразеологизм с первым, никак не объясняя этапов такого «перевоплощения». Бурлацкая версия была автоматически и прямолинейно перенесена на фразеологизм *дело табак* и с начала века принимается большинством историков русской фразеологии.

Импульс к этому, видимо, дал М. И. Михельсон, автор двухтомного собрания фразеологии «Русская мысль и речь. Свое и чужое» (СПб., 1903). Им зафиксировано слово *табак* «не выгорит, неладно», которое и связывается с известным нам бурлацким употреблением, взятым, видимо, из словаря В. И. Даля.

И. Уразов (Почему мы так говорим? М., 1956), А. Разумов (Мудрое слово: Русские пословицы и поговорки. М., 1957), В. Перетрухин (Беседы о языке и культуре речи. Тюмень, 1962), И. С. Ильинская (О богатстве русского языка. М., 1963) и другие авторы прямо отождествляют *дело табак* с *под табак*. Типично (особенно для популяризаторских изложений) и прямое опущение второго оборота, в результате чего первый оказывается «кондово» бурлацким. «Когда бурлаки тянули за собой баржу,— пишет, например, алтайский писатель А. И. Альперин,— им нередко приходилось идти по реке вброд. Чтобы не замочить кiset с табаком, огнивом и трутом, они обычно подвязывали его к шее. Но иногда при переходе попадались глубокие места, и тогда бурлаков одолевало беспокойство за кiset с табаком. В этих случаях бурлаки говорили: „Дело табак“, что означало: плохие, скверные дела...» (Альперин А. И. Почему мы так говорим. Барнаул, 1956).

Как увидим далее, разграничивать обороты *под табак* и *дело табак* необходимо. Сейчас важно отметить, что не все лингвисты безоговорочно принимают изложенное ранее их объяснение. Известный языковед Ю. С. Маслов, приводя традиционную этимологию оборота *дело табак* в своем учебнике «Введение в языкознание» (М., 1975), выражает в ней сомнение. Э. Вартаньян (Из жизни слов. М., 1973) подмечает некоторые противоречия в бурлацкой версии. Во-первых, на Волге водомер кричит «*Под табак!*» не на глубоком, а, наоборот, на опасно мелком месте. Во-вторых, есть здесь и глагол *табачить* «идти не на веслах, а упираясь шестом в дно». Значит, непосредственно связывать оборот с глубиной не совсем логично. Поэтому популяризатор предлагает иную расшифровку выражения, основанную на видоизмененном персидском слове *теббах* «дрянь». Ее признают Н. М. Шанский, В. И. Зимин, А. В. Филиппов — авторы «Опыта этимологического словаря русской фразеологии» (М., 1987).

Для дальнейших этимологических поисков важно уже отмеченное разграничение оборотов *под табак* (имеющего, судя по материалам, бурлацкое происхождение) и *дело табак*. Последнее сочетание имеет гораздо большую распространенность: оно известно (правда, в не очень активном употреблении) также украинскому и белорусскому языкам: *діло табак*, *діло тютюном пахне*; *дзела табак*. В русском литературном языке оно отмечается со второй половины XIX века. Первые употребления — у А. Чехова, М. Горького и И. Бунина: «На Сахалине ждут холеру и держат суда в карантине. Одним словом, *дело табак*» (Чехов. Письмо А. С. Суворину. 11 сент.

1890); «[Кривой зуб]: Яман твоё дело, Асанка! Без руки ты — никуда не годишься! — Нет руки — и человека нет! *Табак* твоё дело! Иди водку пить... больше никаких» (Горький. На дне); «Никакой,— говорит,— твоей козы не держим. Мы её выпустили. Её на барском дворе загнали. И смеется чего-й-то. Так, думаю, значит, опять моё дело *табак*» (Бунин. Ночной разговор). По данным «Фразеологического словаря русского языка» под ред. А. И. Молоткова (М., 1967), оно активно представлено и в современном литературном языке — А. Гайдар, А. Лебедеико, К. Паустовский и др.

Прямой связи с профессиональным оборотом *под табак* такого рода употребления не обнаруживают. Ещё менее она чувствуется в публицистических контекстах, где наблюдается тенденция нарочито акцентировать прямое «табачное» значение. Так, в фельетоне М. Борисова «Дело табак» в своё время рассказывалось о систематическом хищении сигарет с табачной фабрики имени Клары Цеткин в Ленинграде. Фельетонист завершает рассказ об этом именно обыгрыванием фразеологизма, вынесенного в заглавие: «Финал всякого рода хищений и злоупотреблений общеизвестен: *дело* хапуг и комбинаторов, как говорится,— *табак*» (Ленинградская правда. 1975. 22 марта). Ещё более нарочито «обнажена» прямая ассоциация с табаком в одном из некогда знаменитых «Зоосади́зов» Евг. Сазонова с 16-й страницы «Литературной газеты» (1975. № 50): «Здоровье называют лошадиным,/ Но не согласен с этим я никак:/ Ведь лошадь мрет от капли никотина,/ А я живу, хотя *дела — табак*».

Такого рода факты свидетельствуют об относительно самостоятельной судьбе двух интересующих нас выражений. Объединяет их, несомненно, общность переносного значения слова *табак* как отрицательной оценки ситуации, разъединяет — различие структуры и сфер употребления. Это позволяет утверждать, что выражение *дело табак* образовано по иной, общеязыковой, а не узкопрофессиональной, фразеологической модели — модели «наращения» слова *дело* разными негативными эпитетами: *дело-дрянь, дело-швах, дело-медный купорос, дело-труба, плохо дело, гиблое дело, яман дело* и т. п. (Мокіенко В. М. Славянская фразеология. М., 1989). Все эти варианты имеют, разумеется, разную степень мотивированности, различную экспрессивность, устойчивость и стилистическую окраску. Они, однако, связаны единой синтаксической логикой.

Этой логике и подчинено слово *табак* в данном обороте. Истоки его отрицательной характеристичности действительно восходят к бурлацкому выражению *под табак*. Об этом свидетельствует, в частности, и диалектное (ярославское) выражение *дело борода* «о безнадежном, плохом деле, положении» (Ярославский областной словарь. Т. III), где как бы соединяются ассоциации бурлацкого оборота с фразеологической моделью с компонентом *дело*.

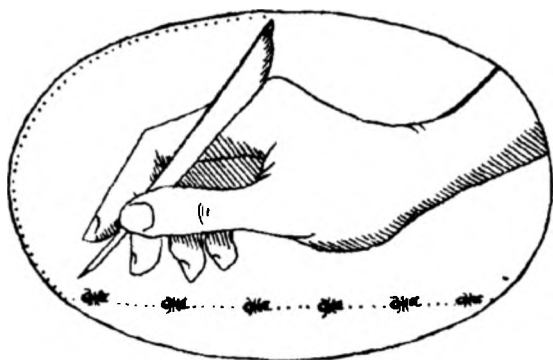
Учитывая литературную фиксированность оборота *дело табак* и

такие сочетания, как *дело швах* или *яман дело* с иноязычными эпитетами (нем. устар. *schwach* «плохой»; татарск. *яман* — то же), можно предположить, что на закрепление такого смысла повлияла и семантическая переключка с экспрессивными европейскими фразеологизмами, в состав которых входит слово *табак*, например, немецкие *das ist starker Tabak* «это уже чересчур!», «вот это номер!», *von anno Tabak* «допотопный» или французские (арготические) *avoir du tabac* «быть в затруднительном положении», *il y aura du tabac* «будет жарко (при военных действиях)», *donner au tabac* «вздувать, поколотить», *fourrer dans le tabac* «поставить в тяжелое положение», испанское *dar (para) tabaco* «строго наказать, проучить», польское *zadać tabaki komu* «сильно избить кого-л.» и т. п.

Отрицательная оценочность слова *табак*, порожденная бурлацкой профессиональной речью, могла получить при такой переключке в рамках литературного языка фразеологическое подкрепление. Окончательно установило такую оценочность его устойчивое сцепление со словом *дело*.

Бурлацкий «профессионализм» *под табак*, следовательно, должен был пройти через синтаксическое и семантическое горнило разговорной речи и литературного языка, прежде чем стать популярным русским выражением.

Санкт-Петербург



МУРАШКИ

Н. С. АРАПОВА,
кандидат филологических наук

По коже побежали мурашки. Что такое мурашки? В Словаре Ожегова (1972) читаем: «**Мурашки**, -шек, ед. мурашка, -и. ж. Пупырышки, появляющиеся на коже от холода, озноба. *Мурашки по телу бегают (пошли). Весь покрылся мурашками*». Сходное объяснение находим и в Словаре Ушакова (М., 1938): «...*Мурашки бегают (по спине, по телу; разг.) — об ощущении озноба, дрожи. Страх, от которого шевелились мои волосы и по телу бежали мурашки. Чхв*» Словарь В. И. Даля не фиксирует такого значения. Нет его и в Словаре 1847 года. Обратимся к текстам XIX века.

Вот пример из «Воительницы» Н. С. Лескова (1866 г.): «...и всё у нее по голым плечам-то сиротки вспрыгивают, пупырышки это такие, что вот с холоду когда выступают». Словарь Даля такого значения у слова *сиротка* не отмечает.

В «Дядюшкином сне» Ф. М. Достоевского (1859 г.) находим: «...Марью Александровну... бросало в дрожь и кололо мурашками». Что же это было? Дрожь как будто указывает на ощущение холода, но пупырышки на коже не сопровождаются колющими ощущениями.

Вот что пишет М. И. Глинка о своем состоянии, когда он узнал о кончине матери: «Известие это поразило меня, но я не плакал. На другой день, после обеда, в большом и указательном пальцах правой руки, коими я взял роковые письма из рук Педро, в то самое время, когда Педро принес мне их накануне, почувствовал я слабость, и как бы ползли на них мурашки, и через несколько минут правая рука ослабела до того, что я не мог почти владеть ею. Доктор мой Мориц

Вольф уверил меня, однако же, что это было временное нервное раздражение,— слова его впоследствии оправдались». Описанные симптомы указывают, возможно, на парэстезию.

Обратимся к медицинским источникам. Вот как описывается явление парэстезии в переведенном с немецкого языка «Compendium электротерапии» Р. Пирсона (1880 г.): «Парэстезия (ползание мурашек, онемение, *formicatio*)». Итак, научное название интересующего нас явления — *formicatio*. Как заглавное слово оно приводится в Энциклопедическом словаре Брокгауза — Ефрона: «*Formicatio* — технический термин, обозначающий ощущение бегания мурашек по коже. Ощущение это, принадлежащее к разряду парэстезий, является весьма часто у здоровых людей вследствие случайного сдавления нервного ствола, и кроме того оно крайне распространено при различных заболеваниях нервной системы, преимущественно спинного мозга».

Словом *мурашки* передает латинский неврологический термин *formicatio* и В. Манассеин, известный русский врач, переводчик «Руководства к изучению функциональных нервных болезней» А. Эйленбурга (1873 г.). В «Фармакодинамике» П. Ф. Горянинова (1853 г.) находим прямое заимствование: «...чувство покалывания иглами или формикация». Тот же автор ранее, в «Фармакологических записках» (1842 г.) пишет: «...чувство покалывания иглами или ползания мурашек (*formicatio*)». Словарь И. Татищева (1816 г.) переводит французское *fournillement* «формикация» как «щипание по телу, как будто мурашки ходят».

Слово *мурашки*, хотя и употребляется почти всегда во множественном числе, не относится к числу строгих *pluralia tantum*, см. цитату из Словаря Ожегова, который приводит форму единственного числа *мурашка*, ж. р. Это же существительное *мурашка* как заглавное слово дается в Словаре Ушакова, где оно объясняется как «1. То же, что *мураш* (обл.)». Выше находим «*Мураш* (обл.). Мелкий муравей, живущий в домах». Словарь 1847 года приводит ту же форму с тем же значением, но без пометы *обл.*: «*Мураш*. м. р. Мелкий муравей, водящийся в покоях. *Кормить соловья мурашами*», а выше: «*Мурашек* м. р. — ум[еньшительное. — Н. А.] слова *мураш*». Значения «покалывание, щипание» этот словарь не отмечает.

Итак, исходное значение слова *мурашки* «мелкие муравьи», а «покалывание, щипание по телу» развилось как перевод латинского медицинского термина *formicatio*. Латинское *formicatio* отмечается у Плиния Старшего со значением «мурашки, нервный зуд» (Дворецкий И. Латинско-русский словарь. 1976). Латинское существительное *formicatio* представляет собой производное от глагола *formico, formicare* «ощущать нервную дрожь, мурашки», который, в свою очередь, образован от *formica* «муравей». Русским переводчикам латинского медицинского термина *formicatio* хотелось вос-

произвести в русской кальке образ, положенный в основу латинского слова. Эта попытка известна с конца XVIII века: «Они чувствуют, как обыкновенно говорят, муравьев, сходявших от головы вдоль спины». (Тиссо С. А. Рассуждение о болезнях. 1793).

Терминологические кальки относятся к разряду книжной лексики и нечасто попадают в разговорную речь. Примером такого редкого случая может служить слово *мурашки*. Характерно при этом то, что проникнув в разговорную сферу, слово утратило свое первоначальное значение и приобрело другое «пупырышки на коже от холода», для которого раньше использовалось другое название — *гусяная кожа* (тоже калька, но прототипом здесь послужило не латинское, а немецкое слово *Gänsehaut*: нем. *Gans* — гусь, *Haut* — кожа).

Об изменении значения у существительного *мурашки* следует помнить при выборе иллюстративного материала в толковых словарях. Приводимый Д. Н. Ушаковым пример из А. П. Чехова, по-видимому, говорит о старом значении «покальывание, пощипывание», ведь А. П. Чехов был медик по образованию и безусловно знал слово *формикация*.

Существовало ли русское название для пупырышков, возникающих на коже от холода? Кроме приведенного выше примера из Н. С. Лескова (*сиротки*), было еще существительное *дрыжики*, которое автор настоящей статьи помнит с детства. Когда в прохладную погоду мы вылезали из речки после купания, то покрывшемся такими пупырышками кричали: «Дрыжиками торгует, почем дрыжики!» Это слово отмечено в Словаре русских народных говоров под ред. Ф. П. Филина: «Д р ы ж и к и продавать. Дрожать от холода» (зафиксировано в 1914 году в Краснинском районе Смоленской области). Но в художественной литературе нам это слово не встречалось. Не отмечает его и Словарь В. И. Даля.

В. В. ВИНОГРАДОВ. История слов

Размышляя об исторических изменениях слов, академик Виктор Владимирович Виноградов пришел к выводу, что слово — «независимая в своем бытии „вещь“. Эта „вещь“ представляется непрестанно изменяющейся и в то же время неизменно тождественной» (Виноградов В. В. История слов. М., Толк. 1994). Следовательно, слово — это «изменяющееся неизменное». Перед нами не просто еще одно определение слова, но и характеристика настоящей книги. Такое прочтение подсказывают содержащиеся сопоставления в посмертно изданной книге В. В. Виноградова «История слов»: «Слово более живуче, более долговечно, чем вещь и личность, и более изменчиво, чем они. При восприятии тождества слова — невольно возникает сопоставление слова с жизненным организмом». Истинность этого вывода подтверждается тем, что сделан он на материале анализа около полутора тысяч слов и выражений.

Факты, сообщенные в предисловии, написанном ученицей и последовательницей В. В. Виноградова — членом-корреспондентом РАН Н. Ю. Шведовой, еще раз напоминают, что при всех внешних изменениях настоящий ученый сохраняет свое лицо. «Акад. В. В. Виноградов принадлежал к числу тех лучших представителей русской интеллигенции, которых не миновала судьба, уготованная им коммунистическим режимом. Дважды он был в далеких ссылках; уже вернувшись, после войны, он испытал гонения, которые обрушили на него сторонники марковского так называемого „нового учения о языке“. Ряд внешних, в данном случае политических, изменений, окрашенных в зловещие, трагические тона, не повлияли на неизменность внутреннего мира настоящего ученого: будучи ссыльным или директором академического института, В. В. Виноградов оставался самим собой.

Так и с книгой. Видя ее сейчас изданной с полиграфическим оформлением, которому могут позавидовать ведущие издательства, и со справочным аппаратом, являющимся образцом лучших академических традиций, трудно поверить, что еще совсем недавно она существовала в виде отдельных статей, опубликованных или нет, заметок, разрозненных записей.

Не просто из архивных материалов, сбереженных вдовой академика Н. М. Малышевой и частично обработанных Г. Ф. Благовой и Л. М. Радкевич, составить академический труд, равно интересный и ученому, и рядовому читателю. Неоценимая по своему объему, значимости и кропотливости работа была проделана авторским коллективом из Института русского языка РАН, члены которого не

только сверяли разные варианты рукописей, но подчас компоновали статьи из отдельных заметок, дополняли первоначальные варианты, выверяли и уточняли библиографию и снабжали каждую статью комментарием, учитывающим ее источники и фиксирующим упоминание анализируемого слова в других работах ученого. В авторский коллектив, руководимый членом-корреспондентом РАН Н. Ю. Шведовой, вошли доктора филологических наук Е. С. Копорская, В. В. Лопатин, М. В. Ляпон, И. С. Улукханов, кандидаты филологических наук Л. Л. Агафонова, В. А. Плотникова, Е. П. Ходакова. В подготовке книги к печати принимали участие кандидат филологических наук Ю. А. Алемасцева, М. В. Рогова, Ю. А. Смирнова.

Среди разнообразных «изменяющихся неизменных» слово — едва ли не самое сложное. Попытаемся выяснить, как видел акад. В. В. Виноградов слово в историческом аспекте. Вопрос рассмотрен в статье «Слово и значение как предмет историко-лексикологического исследования», помещенной в начале книги. Слово здесь воспринимается как многогранная изменяющаяся сущность, средоточие и пересечение множества связей и взаимодействий ряда контекстов, от самых узких, лингвистических (словообразовательных), до самых широких — историко-культурных. Слово конденсирует в себе информацию всех этих контекстов. «Самозарождение однотипных и омонимичных слов — такой же реальный факт, как и самозарождение мотивов, сюжетов и обычаев». Перед нами не просто узко лингвистическое и даже не только филологическое, а скорее семиотическое и культурологическое понимание слова.

История слова должна выявляться из соотношения его с другими словами, словесными рядами и целыми семантическими системами. Это следует рассматривать в контексте языковой системы в целом и эпохи, учитывая социально-исторические и социально-географические изменения: первые — существование слова в рамках одной социальной среды или переход из одной в другую, вторые — странствование слова по диалектам. Но кроме этих странствований возможны еще и перерывы, то есть «переходы слова от музейного бытия среди памятников письменности в живую жизнь». Последнее иллюстрируется историей слова *гостиница*. К XVIII веку оно вышло из живого употребления и сохранилось в рамках церковного словоупотребления и только много позже вытеснило слово *трактир* и стало привычным в бытовой сфере. Временами слова «как бы впадают в летаргию, но затем — спустя век-другой, вновь пробуждаются к жизни», что наглядно иллюстрируется историей слова *председатель*.

Статья содержит и принципы исторического анализа слова. Среди которых существенными представляются предостережения, связанные с возможностью переноса современной системы значений на предшествующие эпохи. С точки зрения автора это может

привести к искажению смысловой перспективы в истории слова. Необходимо проверять свидетельства современников. Суммируя эти принципы, автор говорит: «Исследование слов и выражений всегда опирается на общее представление о последовательных рядах семантических превращений, об исторических закономерностях семантического развития, на историческую науку о развитии мышления, материальной культуры и общественных мировоззрений».

Такое многоаспектное понимание слова требует для воспроизведения его истории огромного количества информации из самых разных источников. Многообразие используемого материала просто поражает: представлены практически все функциональные, территориальные, социальные, профессиональные и стилистические разновидности русского языка.

Распространенная идиома *и никаких...* проникла в литературный язык из речи военных: первоначально она была командой офицера своему подразделению: «Смирно, и никаких движений!», но вышла за пределы профессионального употребления не раньше 70—80-х годов XIX века, проникла в литературный язык, позже трансформируясь в известную всем строчку Маяковского «Светить — и никаких гвоздей!».

Разнообразные выражения восходят к речи картежников. Среди них *втереть очки* — первоначально обозначение шулерского приема, позволяющего с помощью специального порошка изменить достоинство карты (сделать из пятерки шестерку или наоборот). Из этой же среды в первой половине XIX века в литературный язык проникло выражение *идти в гору*, восходящее к названию картежной игры *Горка*. Речи картежников мы обязаны словом *зарваться*, выражениями *загнуть (словечко)*, *срезать (кого-нибудь)*, (*сон*) *в руку*, *рвать и метать* и др.

Слово *животрепещущий* возникло в профессиональной среде рыбных торговцев, где обозначало свежую рыбу. Торговцы более широкого профиля одарили нас словом *завалящий*, первоначально обозначавшим «лежалый товар». *Дело — табак*, обозначающее теперь отрицательную оценку чего-нибудь, возникло в речи волжских бурлаков, трансформируясь из возгласа при измерении глубины воды.

Разночинно-демократическая среда способствовала проникновению в литературный язык глагола *дерзить*. «Слово *дотошный* (дотошный) относится к области устно-фамильярной разговорной речи». Устная речь передовой интеллигенции способствовала возникновению слова *крепостник*. Крестьянская речь продуцировала слово *напускной*.

Кроме того свои наблюдения автор черпает из различных диалектов, языка художественной литературы, деловой речи, эпистолярной, разговорной, научной (философской и естественно-научной), публицистической, книжно-интеллигентской, масонской, речи духовенства, буржуа и мн. др.

Читатель может составить себе не только общую картину истории русского литературного языка на протяжении нескольких столетий, но и рассмотреть ее отдельные фрагменты. Которые, что особенно важно, не мозаично-отрывочны, а целостны, видны в своем взаимодействии, представлены в повествовании путями слов, переходящих за время своей жизни через границы самых разных проявлений языка. Такова, например, история слова *видоизменение*. Первоначальная калька из латинского языка, существовавшая как естественнонаучный термин, стала использоваться в пародиях на научный стиль, а позже распространилась шире «в русском научном, публицистическом и книжно-интеллигентском языке». Впоследствии же слово стало «принадлежностью разных стилей русского книжного языка». Или слово *влопаться*, из профессиональной лексики проникшее в произведения писателей натуральной школы.

Кроме всех разновидностей русского национального языка история слова дается на широком фоне множества других языков, среди которых: древнерусский, церковно-славянский, праславянский, белорусский, украинский, болгарский, словенский, польский, сербо-хорватский, латынь, греческий, финский, французский, немецкий, испанский, гаитянский, арабский и др. яз.

И в этом случае автору важно установить именно взаимодействие, характер межъязыковых переходов слова и происходящих при этом изменений его семантики. Такова история слова *витать*, церковно-славянского по своему происхождению и первоначально обозначавшего «пребывать, жить, гостить» (т. е. нормальным было, например, *витать в доме*). В русском языке значение слова, к тому времени уже изменившееся до «кружиться, носиться в воздухе», подверглось «романтическому переосмыслению» и приобрело вид «незримо таинственно носиться, реять, присутствовать вокруг кого-нибудь, или над кем-нибудь». А «около середины XIX в. в эпоху борьбы с романтической фразеологией изменилась экспрессия слова *витать*. В нем засверкали иронические краски — „предаваться бесплодным мечтаниям, жить не практическими интересами реальной действительности, а романтическими грезами“». Или история слова *выглядеть*, кальки из немецкого языка, распространившейся в 30-х годах XIX века в среде петербургских немцев, и даже в начале XX века в значении «иметь вид» (хорошо выглядеть), рассматривавшейся пуристами как неправильное, а теперь привычное и общеупотребительное. Выражение *медовый месяц* проникает в русский язык из французского или английского языков в начале XIX века.

Обширность привлекаемого к анализу материала, лингвистическая зоркость и талант теоретика позволили В. В. Виноградову выявить ряд факторов, оказывающих влияние на историю слова, то есть представить ее как закономерный процесс.

Большую роль в судьбе слов играет язык художественной лите-

ратуры, образный строй которого способствует восприятию и запечатлению слова в памяти народа. Карамзинской школе мы обязаны новым значением слова *очерк* «краткое описание чего-либо», изменением значения слова *переворот* «революция» и приобретением слова *потребитель* (столь популярным в связи с «потребительской корзиной»), его нынешнего экономического значения взамен изначального «губитель, разоритель». Канонизацией слова *пехотинец* мы, вероятно, обязаны «Московскому телеграфу» (то есть Полевому). А М. П. Погодин «не сочинил и не изобрел слова *свистопляска*: он лишь остроумно и оригинально воспользовался старинным термином».

Весь этот разнообразный материал собран в словарные статьи, помещенные в алфавитном порядке.

Не все статьи автор успел подготовить к печати. Некоторые так и остались в виде незаконченных заметок, что отнюдь не уменьшает их научной и культурологической ценности.

Практически каждая статья содержит информацию о словообразовательных связях и способе словопроизводства анализируемой единицы. Это помогает автору уточнить значение, определить языковую принадлежность и последовательно включить слово в лингвистический контекст. Например, слово *рубаха* в выражении *рубаха-парень* связано с глаголом *рубить*, а не с обозначением одежды. Присутствуют и указания на различные грамматические характеристики, особенно в тех случаях, когда перед нами архаичная или ненормативная грамматическая форма.

Примеры из самых разных проявлений языка, расширяя взгляд на историю слова, позволили В. В. Виноградову уточнить его стилистическую принадлежность и на базе этого вести полемику с лексикографической традицией. Отнесенное Словарем Ушакова слово *двурушник* к газетному стилю воспринимается как слишком узкое определение сферы его стилистической принадлежности. Некоторые примеры из Словаря Даля подвергаются сомнению и аттестуются как собственные изобретения. Кроме того ведется полемика с Гротом, Крюге, Михельсоном и др. Но эта полемика вовсе не означает, что автор противопоставляет себя сложившейся традиции лексикографического анализа, он находится в ее контексте, воспринимает ее лучшие стороны. Poleмика же носит позитивный характер.

Очень интересны сведения, связанные с датировкой возникновения слов. Точный день рождения слова или выражения установить практически невозможно, поэтому перед нами, как правило, относительная хронология, но и она позволяет прояснить представление о жизни той или иной единицы. Слово *замечательный* «образовалось не позднее XVII — начала XVIII в.» А популярное в недавнем прошлом слово *застой* в привычном для нас значении

«сложилось не ранее 40—50-х годов XIX в., т. е. в тот период, когда распространились понятия: *прогресс, прогрессист, прогрессивный, передовой, отсталый, ретроград*». Зря в русский литературный язык из народных говоров проникло не ранее 30-х годов XIX века. Вызывающее теперь столько взаимоисключающих оценок слово *интеллигенция* «появилось в русском литературном языке 60-х годов XIX столетия». Слово *поединок* «укрепилось в русском языке не ранее самого конца XVII в.».

Одним из ярких образцов комплексного анализа является история слова *личность*: общий объем ее около трех авторских листов, на которых, наряду с перечисленными выше сведениями, нашли место и глубокие экскурсы в область истории философии.

Помещенный в книге материал гораздо шире темы, обозначенной в заголовке: кроме отмеченных ранее обращений к словообразованию, грамматике, стилистике, истории материальной культуры и общественной жизни книга содержит массу иной информации.

Не один раз в поле зрения автора оказываются теоретические вопросы языкознания: соотношение слова и идиомы; слова и предложения; омонимии; «внутренних» заимствований. Рассматриваются общие теоретические вопросы истории русского литературного языка: особенности литературного языка второй половины XVIII века, активность одинаковых для литературного языка, народных говоров и старославянского языка моделей словосложения в XVIII и XIX веках, сближение литературного языка 30—50-х годов прошлого века с профессиональными диалектами и специальными языками; история церковнославянизмов в литературном языке; наличие в литературном языке второй половины XVIII века описательных глагольных оборотов и мн. др.

Автор выходит в более широкий контекст библейских образов (например, слово *допотопный*). Рассматривает мифологическую традицию, легшую в основу фразеологизма *перемывать косточки*, который восходит к традиции второго захоронения.

Следовательно, перед нами не просто «история слов», а история языка, развития его уровней, история народа, пользующегося этим языком, его материальной культуры, история мифологических представлений. Поэтому название книги следует воспринимать скорее не в современном, а в ветхозаветном смысле этого слова, где история слов, первоначально представленных — синоним всеобщей истории.

Неискушенному читателю понять и осмыслить информацию помогает язык книги, соединивший в себе строгую научность и образность. Этому способствует то, что каждое теоретическое положение сопровождается примерами, поясняющими его суть. Размышляя о предложении исследователей выделить у слова *ахинея* суффикс *-ея*, В. В. Виноградов пишет: «Морфологический анализ кажется исчерпанным. Но это обман. Фактически безответных воп-

росов выплывает целая стая». Анализ выражения *подвергнуть свою жизнь* наталкивает автора на мысль о том, что «вопрос о смешении или „скрещении“ языков — один из острых, болевых вопросов современной лингвистики». Количество примеров можно было бы увеличить, но, думаю, что и так понятно: язык В. В. Виноградова — образец филологического языка, в последнее время обнаруживающего существенный крен в сторону подобия формализованным языкам точных наук.

Тривиальное перечисление тех, кому эта книга может быть полезна, ничего не даст. Она полезна всем. Ее значение будет оценивать еще не одно поколение читателей.

«История слов» является основой создания того «историко-идеологического словаря русского литературного языка», о котором мечтал В. В. Виноградов.

Современные ревнители традиций, равно как и их противники, могут найти в книге примеры, иллюстрирующие тщетность их установлений, так как язык сам отбирает потребные формы для своего воплощения.

Общекультурологическая направленность книги предполагает, что выявленные в ней взаимодействия самых разных факторов и причин порождения слова (того или иного его значения) должны показать, что оно, хотя и связано с социумом, но все же живет в чем-то обособленной от него, самостоятельной жизнью.

Вероятно, самое главное значение книги может состоять в том, что пронизательный читатель поймет: слово не менее (а то и более) живо и изменчиво, чем он сам.

А. А. Шунейко,
кандидат филологических наук ©



Можно ли сказать
«иззелена-брызжущая»?

Уважаемая редакция!

Обращается к вам благодарный читатель прекрасного и нужного журнала. Зовут меня Яковец Александр Пименович, офицер запаса.

Меня интересуют наречия типа *иззелена*, *искрасна*... Это красивые и благозвучные слова, но не такие простые. В «Орфоэпическом словаре» указано, что они употребляются преимущественно в сложениях с прилагательными: *иссиза-голубой*, *изжелта-красный*...

И все же. Мой вопрос таков: можно ли употреблять эти наречия, например, в сочетаниях типа: *иззелена-брызжущая* (майская листва), *изжелта-пожухлая* (трава, листва)? То есть — с причастиями, а также с другими частями речи?

Размышляя самостоятельно над этим, я поначалу ответил на свой вопрос отрицательно, так как в толковых словарях разъясняется: *изжелта-оранжевый* — значит с желтым оттенком; *искрасна*... — с красноватым, *изголуба*... — с голубым и т. д. В общем, наречия в подобных сочетаниях передают оттенки цвета, что вдобавок под-

тверждается толкованием приставки «из». Но вот тут-то я и приздумался. Приставка «из» в образовании слов многоупотребима. В самом деле, почему *иззелена* — это значит иззеленить (почернить, изжелтить) и только? Почему нельзя представить как: *иззелена* — значит из зеленого? *Искрасна* — из красного? И истолковать иначе: *исчерна-седая* (борода) — значит: из черного проступает седина. А если «исчерна-седая» истолковать, как предлагает словарь, то получаем обратное: седая с прочернью борода, или с черноватым оттенком.

Видите, от оттенков цвета мы перешли к оттенкам смысла существностей. И пожалуй, уловить их очень трудно, так же, как невозможно зафиксировать в сознании ежесекундно меняющееся в красках закатное небо в облаках над морем. Кстати, эти удивительные вечерние картины и подвигли меня на размышления.

Но вернусь к вопросу и повторю: возможны ли сочетания этих наречий с причастиями? Ведь если взять «новую тракторку», то фраза «иззелена-брызжащая майская листва» толкуется так: из зелени брызжет (радостью, обновлением) весна. А, например, та же «изжела-пожухлая трава» — дыхание осени, увядание.

Понимаю, что все это выглядит натянутым, а язык требует точности, хотя бы потому, что он фиксируется словарями. И в то же время величие языка в его живом дыхании, изменчивости, непредсказуемости. Для меня он схож с упомянутым любованием небом над морем, когда бесполезно пытаться остановить мгновение и остается — восхищаться.

Пожалуйста, не оставьте мои сомнения без внимания.

Владивосток

Уважаемый Александр Пименович!

Ответ на Ваш вопрос о значении наречий типа *иззелена*, *искрасна* и возможности их сочетаемости в современном языке с разными частями речи начну издалека.

По мнению историков языка, наречия на *-а*, обозначающие оттенок цвета, активно образуются в языке XVI—XVIII вв. по уже существовавшей в древнерусском языке модели — от именного корня с помощью приставки /предлога/ *из* (*ис*). Эта модель была продуктивна как в древнерусский (XI—XIV вв.), так и в старорусский период истории русского языка (XV—XVII вв.) и в XVIII в. Однако наречия, встречающиеся в исторических памятниках начиная с XI в., имели качественное (но не цветное) и различные обстоятельственные значения (временное, пространственное, меры и степени и др.), а приставка первоначально придавала этим значениям корня оттенок интенсивности. Впоследствии произошла десемантизация

приставки, и она утратила это значение в указанных образованиях. Приведем некоторые примеры употребления наречий этого типа в исторических памятниках XI—XVIII вв.: *излиха* (слишком) чьтете я (1076); злообычно помыслив и зле *излиха* (XII в.); еже бо *исперва* (раньше, до этого) место назнаменавь (XII—XIII в.); держати лвовьскую землю *исполна* (1350 г.); кланяти ся нача *издалеча* ему (конец XI в.); начаша ... рубитися *искрепка* (XVI в.); *изгуста* мажь по баячкамь (XVIII в.); смачивать ... хотя простою водою, но гораздо *изсуха* (1780 г.); тело у них *изпродолга шароватое* (1771 г.).

По-видимому, в большинстве этих примеров значение интенсивности признака у наречий сохраняется. Наиболее характерно для языка указанного периода употребление наречий данного типа при глаголах (в том числе причастиях), хотя возможно и сочетание их с наречиями (*зле излиха*) и прилагательными (*изпродолга шароватое*). В современном языке подобных наречий сохранилось немного: *искоса, изредка, издавна, издалека* и некоторые другие.

Что касается наречий со значением цвета, встречающихся, как уже говорилось, в языке с XVI в., то они характеризуются сочетаемостью главным образом с прилагательными, занимая позицию до или после них. В книге Н. В. Чурмаевой «История наречий в русском языке» (М., 1989), материалами которой мы пользуемся, отмечены единичные случаи употребления таких наречий при глаголах, причастиях и существительных. Например: Жеребець *избура пегъ* (1689 г.); Даль ... лошадь мерина, *изгнеда бура* (1657 г.); [игумен Кирилл] *сед изжелта*, брада до пояса (XVII в.); глаза прикась, *искрасна серы* (1690 г.); Подобиемъ старь, *сед изчерна*, главою плешивь (XVI, XVIII в.); А телом оные японцы некоторые *избела*, а более смуглых, глаза малые (1739 г.); Взявъ добрую горсть муки, подпалить оную *избела* в масле коровьемъ (1796 г.). Трудно сказать, имели ли наречия этого типа, являясь более поздними образованиями, значение интенсивности признака. Возможно, что *сед изчерна* означает «переход» от черного к седому, что тоже может определяться значением приставки *из-*, поскольку она многозначна. Однако во всех словарях присутствует количественная оценка того или иного цвета в образованиях с наречиями этого типа.

В «Словаре русского языка XI—XVII вв.» толкования наречий с цветовым значением не одинаковы. Например, *изгнеда-бурый* толкуется как «светло-рыжий с бурьм оттенком» (*гнедого* цвета как будто больше), а *искрасна-серый* и *искрасна-черный* как имеющие *красноватый оттенок*. В юмористической поэме И. П. Мятлева «Сенсации и замечания госпожи Курдюковой за границей...» (1840—1844) есть строчки: «Вкус иссладка-кисловатый, Цвет *искрасна-желтоватый*...» (здесь как будто *красного* больше, поскольку *-желтоватый*, второй компонент сложного прилагательного, сам обозначает оттенок цвета).

Отмеченные в диалектах наречия этого типа имеют значение оттенка цвета. В «Полном словаре сибирского говора» (Томск, 1993) зафиксированы, в частности, такие примеры: «На колокольчик похожи [цветы], они не белые, а *изжелта*»; «Подснежник — беленьки цветочки. Не совсем белый вышел, а *изжелта*»; «Лук бывает *белый, иссиня*».

В «Толковом словаре живого великорусского языка» В. Даля при подобных наречиях даются толкования типа: *иззелена* — «зеленоватый, с примесью зеленого, с зеленым оттенком или отливом»; *искрасна* — «с прибавкой иного цвета, красноватый, с красным отливом». И хотя при *иззелена* дается пояснение «с примесью зеленого», а при *искрасна* — «с прибавкой иного цвета», здесь, видимо, дело не в различном восприятии значения, а в неупорядоченности толкования.

Значение оттенка цвета для толкования наречий этого типа поддержано всеми современными словарями, начиная со словаря Д. Н. Ушакова. Однако небольшой опрос информантов в возрасте от 60-ти до 20-ти лет показывает, что многие из них затрудняются определить, какого цвета больше в сложных прилагательных с наречием этого типа в первом компоненте и с цветовым значением основы второго компонента. Так что в своих сомнениях относительно значения подобных наречий Вы не одиноки. И если *иссиня-черный* и *исчерна-синий* чаще воспринимаются в соответствии с толкованием словарей, то *исчерна-седой* (Ваш пример) или *иззелена-красный* вызывают противоречивые суждения. Очевидно только одно: везде присутствует значение «смешение цветов», а не «сочетание цветов» (ср. *черно-белый*).

Наречия с цветовым значением (или воспринимаемым как цветоевое) широко употребляются в составе сложного прилагательного в художественной речи. Приведем некоторые примеры из поэзии XIX—XX веков:

Уважается цвет гнедой и чалый.

В презреньи ж —

Белый и *иссветла-рыжий*.

Востоков. Отрывок из Вергилиевых Георгик

Будто из мрамора или кости сложившись,

Мчатся высокие, *изжелта-белые* тучи...

К. Случевский. Мертвые боги

Как цыганка, платками узорными

Расстилалася ты предо мной,

Ой ли косами *иссиня-черными*,

Ой ли бурей страстей огневой.

А. Блок. Опустись, занавеска линиялая...

Сучья в *иссиня-белом* снеге;
Коридор Петровских коллегий
Бесконечен, гулок и прям.

А. Ахматова. Петроград

Иссиня-черное, исчерна-
Синее твое оперение.
Жесткая, жадная, жаркая
Мать.

М. Цветаева. Голуби реют...

Осень. *Изжелта-сизый* бисер нижеется.
Ах, как и тебе, прель, мне смерть
Как приелось жить!

Б. Пастернак. Конец

Сколько детских засыпали глаз,
Сколько *иссиня-черных* остригли волос,
Сколько девичьих рук расплелось.
П. Антокольский. Лагерь уничтожения

Тысячелетних скал горбы
от мха *иззелена-седы*,
и камни масляные лбы
высовывают из воды.

В. Тушнова. Дорога на Клухор

Вот осина в трепетных монистах,
Впереди должна качаться рожь
С крапинками *иссиня-огнистых*
Васильков, каких не оберешь.
С. Смирнов. Свидетельствую сам

Подобные наречия встречаются и после прилагательных:

Но медленно,
Клубясь, как дым,
Сначала пепельно-седым,
Потом *багровым* *иссиня*
Край неба
Стало осенять
Летучей тучей.

В. Полторацкий. Гроза

Вечный траур — и листья и травы

В Чиатурах *черны иссиня*.

В вагонетке, как уголь из лавы,

Гроб везли. Хоронили меня.

А. Межиров. *Бессонница*

В современной художественной литературе есть примеры употребления наречий этого типа при глаголах и причастиях, также имеющих преимущественно значение цвета: «Лицо у Турченко было усталое и точно побурело *изжелта*» (А. Куприн. Черная молния); «Лица их вспотели и дрябло сморщились и *иссиня* побелели, как известка» (В. Иванов. Партизаны); «... сияющий *иссиня* доспехами, грубый...» (С. Кирсанов. Поэма о роботе); «*иссиня-выбритый* человек» (О. Форш).

В Вашем примере *изжелта-пожухлая* трава отглагольное прилагательное *пожухлая* имеет оттенок цвета. По этой причине такое сочетание имеет право на существование. С большим сомнением можно отнести к сочетанию *иззелена-брызжущая* (майская листва). Если воспринимать причастие *брызжущая* как имеющее цветовое значение (в ряду *брызги, блески*), то, по-видимому, оно возможно и означает «брызжущая зеленью». Однако надо помнить, что образования такого типа продуктивны только в художественной речи, употребление их очень индивидуально. В связи с этим хочу отметить любопытный факт: А. С. Пушкин вообще не использовал таких наречий, во всяком случае в «Словаре языка А. С. Пушкина» их нет.

С. Н. Борунова

Не-«Правила» и не-«Словарь»

Б. З. БУКЧИНА,
кандидат филологических наук

Под грифом Российской академии наук Института русского языка вышла книга, включающая «Правила русской орфографии и пунктуации» и «Орфографический словарь — словарь ударений».

Что и говорить — для каждого пишущего (и говорящего), для каждого учащего и учащегося такая книга могла бы стать настольной.

И тираж 100 000 мог бы оказаться недостаточным. Однако волноваться не стоит. Исполнитель этой книги В. Н. Попов сможет легко увеличить (удвоить, утроить) тираж и удовлетворить любой спрос. И делает он это без особого труда: все заложено в машине, в компьютере.

Впрочем, особого труда не стоило и создание этой книги.

«Правила» — это не во всем действующие правила, и «Словарь» — это и не словарь, и не орфографический, и не словарь ударений, и слов в нем не 45 000 (как указано на титуле), а 35 000 (а если считать многочисленные повторы «особо трудных» орфографических слов, как то: *мат* — 5 раз, *дух* — 3 раза и мн. других), то еще меньше.

Все созданное могло бы соответствовать той аннотации-рекламе, которая дана на обороте титула (кстати, текст этот целиком заимствован из «Правил русской орфографии и пунктуации» 1956 г. с незначительными уточнениями), но не в утвердительном, а в отрицательном плане, т. е. с частицей *не*: настоящие правила с Орфографическим словарем *не* должны служить основными источниками (в тексте — ед. ч.) для всех составителей учебников, словарей русского языка, специальных словарей, энциклопедий и справочников. Они *не* являются (в тексте: «должно быть») практическим руководством для каждого, кто интересуется вопросами русского правописания (в тексте — точка) и правильного произношения.

Анализировать это пособие с научной или практической точки зрения — значит признать его заслуживающим какого-либо внимания.

На самом же деле эта книга — материал скорее для юмористов, фельетонистов.

Но если бы В. Н. Попов не скрыл свое «авторство», то с него и был бы спрос. Однако именно он без ведома Института, Ученого совета, который обсуждает и рекомендует (или не рекомендует) все работы, выполненные в Институте, выпустил эту книгу под грифом Института русского языка РАН.

Юридическую оценку такого «поступка» должны дать специалисты-юристы.

Моя задача — сотрудника Института русского языка, принимавшего участие в разработке «Правил» и в составлении «Орфографического словаря русского языка», начиная с первого издания, — предупредить читателя.

Первая часть книги — это перепечатка «Правил русской орфографии и пунктуации» (1956 г.).

Выход «Правил русской орфографии и пунктуации», готовившихся с 30-х годов, в 1956 году был значительным событием в истории русской орфографии. Их роль в упорядочении орфографического разнобоя трудно переоценить.

Однако, как показала орфографическая практика, включающая и реальные написания слов в книгах и в периодической печати, и рекомендации в области написания слов, содержащихся в энциклопедиях, справочниках, словарях (в том числе и орфографических), «Правила» давно нуждаются в уточнениях, новой редакции и, возможно, иных основаниях, регламентирующих написание многих орфографических разрядов слов.

Время показало, что с точки зрения современного языка правила не полностью охватывают части слов, слова, а также целые категории слов, подлежащие регламентации. Отступления от некоторых рекомендаций «Правил» во многих современных авторитетных пособиях помогают сформулировать новые правила, устранить существующий разнобой.

Некоторые правила устарели. Например, в § 105 рекомендуется писать все слова с прописной буквы: Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза, но со строчных букв (§ 103) «названия религиозных праздников и постов: рождество, троицын день, святки...»

В. Н. Попов как бывший сотрудник Института русского языка не мог не знать, что в настоящее время в Институте завершается работа над новой редакцией «Правил»; что есть Орфографическая комиссия, в состав которой входят специалисты.

Так называемый «Орфографический словарь — словарь ударений» — это, как выяснилось, случайная выборка из «Толкового словаря русского языка» С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой.

Но непрофессионализм выборщика привел к тому, что Словарь изобилует нелепостями, ошибками, пропусками слов и даже целых букв (нет буквы Ю). В словаре даны слова *ариаднин*, *кузькин*, *гулькин* и др., но нет фразеологических сочетаний.

Совсем непонятно, почему «Словарь» назван еще и «Словарем ударений» — «руководством для каждого, кто интересуется вопросами правильного произношения». Ударение проставляется во всех без исключения словарях, но добавления «Словарь ударений» нет ни

в толковых, ни в фразеологических, ни в синонимических и др. словарях. А «Словарь» В. Н. Попова совсем не может претендовать на «источник правильного произношения», так как в нем (очевидно, по техническим причинам) «отрубаются» произносительные варианты (например, есть только *творог*, *бижутёрия*, *взáшей* и нет *творог*, *бижутерíя*, *взашéй*).

Публикация в одной книге «Правил» 1956 г. и «Орфографического словаря» означает, что Словарь дан как приложение к «Правилам».

Возникает вопрос к В. Н. Попову: как это соотносится с существующим «Орфографическим словарем русского языка» (первое издание вышло в 1956 г.) — словарем, в котором в форме конкретных слов реализовались положения «Правил». Словарь — с грифом Института русского языка, но не безымянный. Редакторы первого издания С. Г. Бархударов, С. И. Ожегов, А. Б. Шапиро — все — члены правительственной Орфографической комиссии, готовившие «Правила». Словарь переиздавался 3 раза (1963, 1974, 1991), стереотипных изданий — 32.

В каждом издании есть Предисловие, в котором пользователь может узнать и о составе словаря (словнике), и о структуре (оформление словарных статей), и об орфографических изменениях, которые вносились в каждое издание.

В настоящее время в Институте завершена работа над «Русским орфографическим словарем».

Кандидату филологических наук В. Н. Попову должно бы быть известно, что список слов — это не словарь, должны бы быть знакомы такие понятия, как состав словаря, структура словаря. Что орфографический словарь и орфоэпический словарь — это разные словари.

И последнее: Институт русского языка не имеет никакого отношения к этой книге, которая была обсуждена и резко осуждена на Ученом совете Института, о чем принято соответствующее решение.